

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ

ХРАНИТЕЛИ МИРОВ

→ НА ГРАНИ МИРА ←

КНИГА ПЕРВАЯ



Николай Петров

На грани мира

«Автор»

2026

Петров Н.

На грани мира / Н. Петров — «Автор», 2026

На самом краю обитаемого мира стоит древняя Стена, а у её подножия спит исполинское существо, вселяющее страх в обитателей деревни. Кузнец Тавен живёт простой жизнью — пока однажды к его порогу не приходит незнакомец, знающий то, чего не может помнить ни один человек. С этого дня привычный мир начинает раскрываться перед Тавеном, словно старая карта, таящая дороги между далёкими землями, чужими воспоминаниями и иными реальностями. Вместе с Майрой ему предстоит пройти города и степи, реки и моря, разлуку и плен — чтобы однажды вернуться туда, где всё началось. Но чем ближе они подходят к границе мира, тем труднее отличить древнее зло от древнего страха. Это история о любви, памяти и цене истины.

© Петров Н., 2026

© Автор, 2026

Содержание

От автора	6
Пролог	9
Глава 1. Стена	11
Глава 2. Кузница	16
Глава 3. Бэрин	20
Глава 4. Незнакомец	24
Глава 5. След	30
Глава 6. Первая кровь	36
Глава 7. Караван	40
Конец ознакомительного фрагмента.	45

Николай Петров

На грани мира

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ
ХРАНИТЕЛИ МИРОВ

На грани мира
Книга первая
2026

© Николай Петров, 2026

Все права защищены. All rights reserved.

Использование элементов вселенной без письменного разрешения автора запрещено.

Моему коту Энджи, с которого всё началось.

*Меж жизнью и тем, что ей противоположно, пролегает стена.
И покуда у стены есть Хранитель — тьме не пройти.*

От автора

Это моя первая книга. До недавнего времени я и не думал, что когда-нибудь напишу эти слова.

По образованию я физик, работаю инженером-программистом. Мне всегда нравилось не просто придумывать идеи, а воплощать их целиком — от первого замысла до готового результата. Скажем, если речь о научном приборе, мне интересно пройти весь путь самому: разработать схему, спроектировать плату, запрограммировать её, написать программу для анализа данных — и в конце увидеть результаты измерений. Наверное, так же появилась и эта книга: сначала возникла одна небольшая идея, а потом вокруг неё постепенно вырос целый мир.

У меня есть семья и кот-рэгдолл, который невольно стал одним из соавторов этой истории. Он любит приходить ко мне, устраиваться на столе рядом с клавиатурой и лениво наблюдать за тем, что я делаю. Именно глядя на него, я написал песню «Зверь на краю», которая полюбилась слушателям моего ютуб-канала «ОсколкиЭха» (youtube.com/@ShardsOfEcho), что был открыт в конце марта 2026 года.

На канале я публикую свои стихи и песни. Когда-то я уже писал песни и даже исполнял их; и после перерыва в четверть века я вновь взял в руки перо — теперь всё в ином виде и с новыми возможностями.

После «Зверя на краю» родилась вселенная «Хранителей» — со своими законами, образами и судьбами. Следом пришла «Стена мира» — она и легла в основу этой книги. Затем — ещё три песни, уже о Маяке. Постепенно я понял, что песням становится тесно в прежней форме: за отдельными строками проступали события, герои и тайны, которые хотелось раскрыть подробнее.

Но окончательно решиться на книгу мне помог один из слушателей на канале. Он сказал, что я обязательно должен попробовать её написать.

И я попробовал.

Я с детства люблю книги, где воображение соединяется с логикой, а необыкновенные миры живут по понятным внутренним законам. Возможно, поэтому, придумывая вселенную «Хранителей», я хотел не просто рассказать историю, но и построить цельный мир — такой, в который хотя бы на время можно поверить.

Эта книга родилась из музыки, наблюдений, любви к научной фантастике, инженерного желания разобраться, как всё устроено, и поддержки человека, который сказал мне однажды: «Попробуйте».

Перед вами результат этой попытки.

Спасибо моей семье, слушателям «ОсколкиЭха» и всем, кто поддерживал мои песни и помог этой истории состояться. Особая благодарность Диме и его маме — тем самым слушателям, которые и сподвигли меня войти в стремительные воды писательской деятельности.

И отдельное спасибо моему коту, который однажды просто лёг рядом с клавиатурой и посмотрел на меня пронизательным и мудрым взглядом своих голубых глаз.

Оглавление

От автора

Пролог

Глава 1. Стена

Глава 2. Кузница

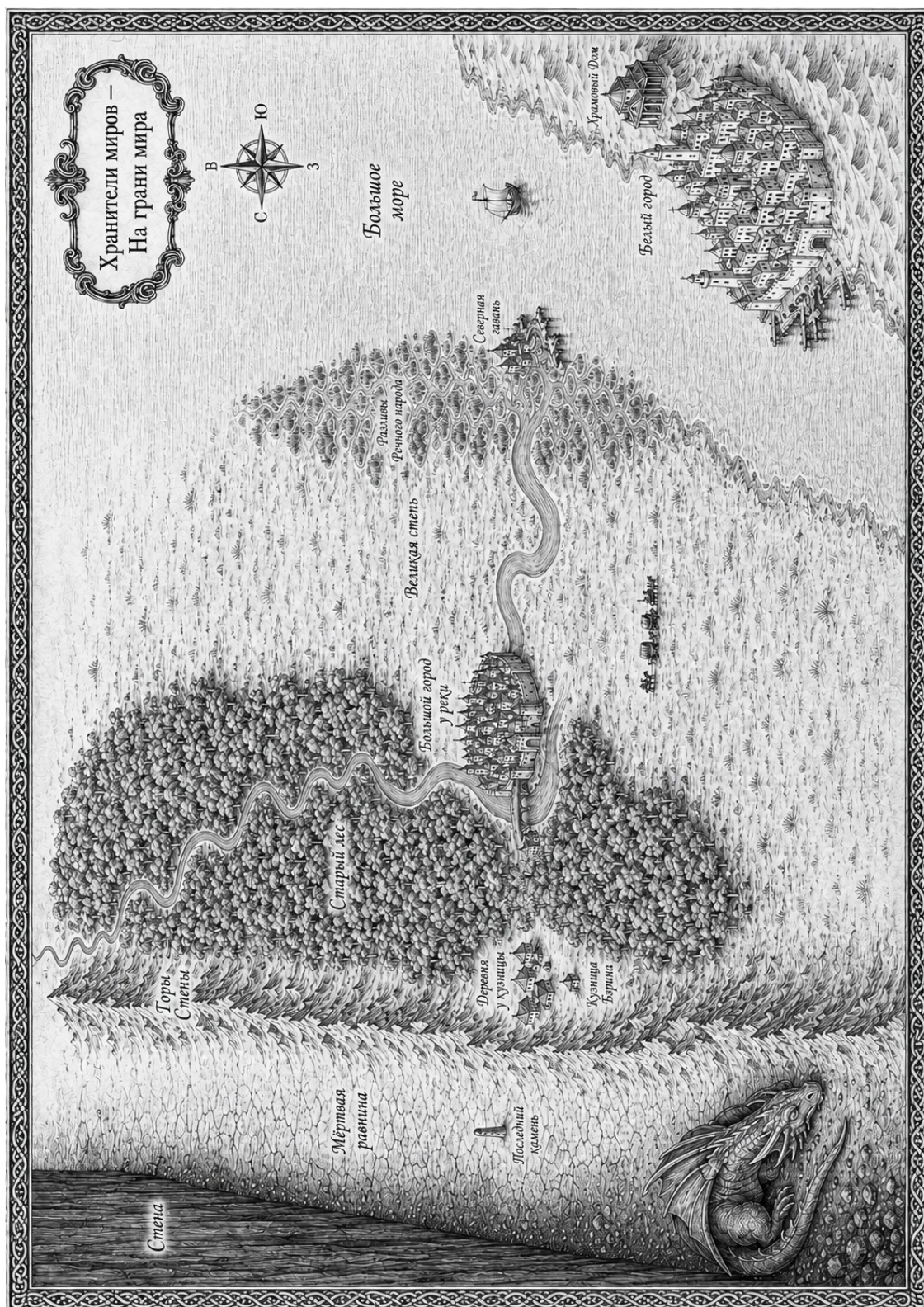
Глава 3. Бэрин

Глава 4. Незнакомец

Глава 5. След

Глава 6. Первая кровь

- Глава 7. Караван
- Глава 8. Двое
- Глава 9. Речной народ
- Глава 10. Гавань
- Глава 11. Шторм
- Глава 12. Чужой парус
- Глава 13. Торг
- Глава 14. Чёрный камень
- Глава 15. Фреска
- Глава 16. Дорога старше гор
- Глава 17. Правило дороги
- Глава 18. Родная речь
- Глава 19. Две охоты
- Глава 20. Отлив
- Глава 21. Вехи
- Глава 22. Остывшая кузня
- Глава 23. Подкова
- Глава 24. Последняя веха
- Глава 25. Свежий снег
- Глава 26. Чужой горн
- Глава 27. Зима без снега
- Глава 28. Первый свет
- Глава 29. Сон Дракона
- Глава 30. Память
- О цикле «Хранители миров»



Пролог



Третий день идёт дождь. Счёт дням я давно потерял и, признаться, ничуть о том не жалею.

Он стучит в стекло ровно и негромко, без всякой злобы, и под его баюкающий говор хорошо думается ни о чём. В комнате тепло, прогоревшие поленья оседают в камине с тихим потрескиванием, на столе остывает забытый чай, и пар над ним тянется к потолку тонкой серебряной прядью. Тут же лежит потрёпанное перо, что я беру в руки всё реже. Повсюду громоздятся стопки старых книг, которые я когда-то раскрыл да так и бросил пылиться. Прежде мне нравилось уходить в иные края по их страницам. Но то, что они лишь сулили, я давно научился находить наяву, и потому меня к ним больше не влечёт.

Про меня говорят: вот человек, что сочиняет миры. Сочиняет... Что ж, так, пожалуй, проще, и я не спорю. Но сам я знаю правду: я их не выдумываю. Я в них бываю.

За окном, сквозь дождевую морось, открывается всё тот же неизменный вид: мокрые сосны на ветру да серые пики гор вдаль. Жизнь моя тиха и проста, и утомлять её читателя я не стану.

Вот по стеклу сползает капля. Она набухает, срывается и катится вниз, вбирая по дороге соседок помельче. Иной бы залюбовался, а я слежу, как она отыскивает себе путь, и думаю, что выбора у неё и нет: есть лишь наклон, тяжесть да случай, что свёл её с другими каплями. Так уж я устроен: где другой видит узор — я ищу закон, по которому она движется. Должно

быть, оттого те миры мне и доверились. Я ведь не только смотрю на них — я допытываюсь, на чём они держатся, чем дышат, и сам живу ими.

Приходит это само собою, стоит лишь посидеть подольше да перестать себя стеречь. Дождь отступает, звук его делается далёким, страница плывёт перед глазами. И капля на стекле уже не капля, а нечто текучее и бездонное, и если смотреть в неё не отрываясь, настанет миг, когда сквозь неё можно пройти. Поначалу я пугался и думал, что рассудок понемногу сдаёт, что годы берут своё. Но после понял, что это истончается сама грань между мирами, и мне позволяют пройти.

И всякий раз, вернувшись, я застаю всё как было: тот же остывший чай, тот же вид за окном. Только сам я уже не вполне прежний. Какая-то часть меня остаётся там, на другой стороне, и назад со мной не возвращается. И всё же я не жалею. Просто прихожу обратно раз от разу чуть более усталым и уже не знаю, надолго ли меня ещё хватит.

Сегодня капля уводит меня дальше обычного. Я вглядываюсь в неё, не отводя глаз, и мало-помалу и стекло, и дождь, и тёплая комната делаются далёкими-далёкими.

А потом всё исчезает.

Глава 1. Стена



Холодно.

Холод — первое, что я чувствую. А следом, ещё прежде чем я успеваю понять, где очутился, приходит другое: детские руки, которыми я обхватил колени, все в ссадинах и с обкусанными ногтями, цепко сжимают кривую палку. Я сижу на корточках в сырой траве, на склоне холма. Но это не я — это чужое тело, лёгкое, мальчишечье, нетерпеливое, и оно знает то, чего не знаю я. Знает здесь каждую пядь, и запах коз, и дым далёких печей внизу. Знает, что старик впереди хоть и свой, но его всё равно надо бояться.

Я погружаюсь в это состояние всё глубже. Ещё мгновение, и мне уже не вспомнить, что я явился откуда-то извне. Не вспомню ни окна, ни дождя, останется одна роса, стылая трава да дед, идущий впереди.

И всё же что-то моё оседает на самом дне, не растворяясь до конца. Это тонкая холодная нить, которой у мальчика нет и быть не может. Я знаю, что случится с ним сегодня. Он не знает. Оттого мне и больно смотреть на мир его глазами.

— Не отставай, — не оборачиваясь, бросает дед.

Я вскакиваю, и роса тут же окатывает мне ноги по колено, так что пробирает дрожь. Дед уже далеко впереди. Тёмный на светлеющем небе, он ступает, не глядя под ноги, потому что знает эту тропу наизусть. Я спешу следом, и мокрая трава хлещет меня по голениям.

Мы поднимаемся, и я всё никак не поверю, что это взаправду. Сколько раз я просился с дедом наверх и столько же раз слышал в ответ одно и то же: мал ещё, подрасти. А нынче он сам растолкал меня затемно, сунул в руку палку, и вот я иду рядом с ним. Стало быть, я теперь взрослый. Меня так распирает, что впору не шагать, а бежать вприпрыжку, и я едва сдерживаюсь, чтобы его не обогнать.

За дальними холмами светлеет небо: серое переходит в белое, белое в жёлтое, и вот-вот брызнет первый луч. Высоко ещё висит бледная луна, и одна упрямая звезда всё никак не погаснет. Я иду и то и дело поглядываю на неё.

Внизу, откуда мы вышли, ещё спит деревня. Её и не разглядеть: низину залил туман, ровный, как молоко в миске, и торчат из него одни макушки тополей, да тонкой ниткой тянется кверху дымок затопленной печи. Пахнет сырой землёй и ещё чем-то таким свежим, чему и названия нет. Так пахнет одна только рань, пока солнце не выпило росу. Я дышу полной грудью.

И вдруг, разом и отовсюду, вступают птицы. Сперва одна, несмело, за нею другая, а там и все сразу: свистят, щёлкают, трещат, заливаются на сто ладов, и самый воздух густеет от их гама. Жаворонок срывается из травы, бьётся крыльями и уходит в светлеющее небо, и звенит оттуда без устали. Я задираю голову, но его уже не видать, осталась одна песня. Я бы и сам запел, если бы умел.

Впереди бредут десятка полтора коз, на ходу прихватывая губами траву. Щербатый колокольчик на старой комолой козе, что идёт первой, брякает вкривь и вкось: она у нас заводила, и прочие тянутся за её звоном. Я то и дело сшибаю палкой росу с высоких стеблей, и она разлетается во все стороны. Тут наконец и солнце встаёт по-настоящему. Разом теплеет, капли на траве вспыхивают, будто кто рассыпал по ней пригоршню самоцветов, и от земли поднимается лёгкий пар. Я жмурюсь и подставляю лицо теплу. День будет ясный.

Молчать на ходу не умею и поэтому болтаю без удержу. Всё спрашиваю деда, далеко ли ещё, и правда ли, что наверху трава слаще, и отчего козы там не дичают. Он сперва отвечает коротко, в два слова, а после умолкает вовсе: идёт и глядит куда-то вверх, на гору. Смотрю туда же и понемногу затихаю сам.

Впереди темнеет лес.

Этот лес я хорошо знаю снизу, из деревни: тёмная полоса на горе, куда я ни разу не заходил. Туда и взрослые без нужды не суются, потому что далеко, высоко, а пуще всего страшно: черно там, глухо, и кто его знает, что таится в чащобе. Мы, малышня, друг друга этим лесом пугаем. А дед гонит коз к нему, не сворачивая.

Я было совсем оробел, и тут прямо из-под ног у меня с треском вырывается заяц. Серый, уши прижаты к спине. И махнул вверх по кособору широкими скачками, как раз к тому лесу. Смотрю вслед, замерев: вот он домчал до опушки, мелькнул раз, другой и нырнул под деревья, в самую темень, будто к себе домой. И ничуть не струсил.

И мне делается легче. Раз заяц не боится, чего бояться мне? Заяц знает, где худо, а где ладно, и вон как уверенно юркнул в чащу. Стало быть, не так и страшен этот лес, как о нём толкуют.

— Дед, мы туда?.. — Голос у меня всё же садится.

— Туда, туда, — отзывается дед. — Не бойся. Лес добрый. Это после него бойся.

И мы входим под деревья.

Я жмусь к деду. Птичий хор, луга, простор — всё это разом остаётся за спиной, будто затворили дверь, и в новой тишине не жутко, а покойно. Под ногами рыжая хвоя, мягкая и сухая, она пружинит и шуршит, и ступать по ней одно удовольствие. Повсюду валяются шишки, и я поддаю их носком. Пахнет смолой, тёплым деревом и грибами. Сквозь кроны падают косые столбы раннего света, и в них толкутся мошки. Где-то деловито, по-хозяйски стучит дятел, и от его дробы делается уютнее. Высоко, в развилке, мелькнула белка, цокнула и пропала. Я и не подозревал, что внутри лес такой огромный и живой.

И страх мой понемногу тает. Я снова тараторю, снова машу палкой, теперь уже по стволам, и слушаю, как гулко откликается дерево. Дед молча поднимается всё выше, и я не отстаю от него. Мы идём под плотным зелёным сводом, и уже не верится, что этого самого леса я боялся всю жизнь.

А лес меняется. Не вдруг, а исподволь, так что и на этот раз я замечаю не сразу.

Сосны мельчают и редуют. Меж стволами всё больше серого неба, но света отчего-то убывает. Хвоя под ногами уже не рыжая и не мягкая, а бурая, слежалая; а потом и она пропадает, один голый камень да сухая колючка. Смолкает дятел, исчезают белки, одна за другой стихают птицы, и хор их откатывается вниз, за спину, туда, где лес ещё живой.

Чем выше, тем деревьям хуже. Они уже не стоят, а горбятся, кривые и скрюченные, с голыми сучьями, и цепляются корнями за камень, как старик — за край лавки. Кора на них в седом лишайнике, ветви с одного боку неживые. Будто кто-то медленно, год за годом, вытягивает из них жизнь. Последние и вовсе низкорослые, корявые, мне по плечо.

И тут я понимаю, что давно уже замёрз. Утренний холод был иным: он бодрил, гнал бежать и размахивать руками, а этот ровный и вязкий. Ветра нет вовсе, а он всё равно прибывает — идёт будто отовсюду разом, как тянет зимой от настежь распахнутой двери. Только двери нигде нет. Да и лето кругом. И так тихо, что слышно, как бьётся собственное сердце: ни птицы, ни шишки под ногой, ни дятловой дробы, один наш шаг да колокольчик старой козы, редкий, неохотный, гулкий. Солнце где-то светит, а сюда не доходит, и свет тут серый, мутный, без тепла. Будто здесь, наверху, утро так и не занялось, а застряло где-то на полпути.

Мальчик не знает, отчего лес измельчал и зачах, отчего умолкли птицы и свет тускнеет там, где ему бы разгораться. Они поднимаются к самому краю живого, туда, где за древнюю стеною начинается то, чему в языке мальчика нет имени. Оно не убивает разом. Оно пьёт медленно и тихо, как выпило соки из этих сгорбленных сосен. И чем ближе к этому краю, тем тоньше делается покров живого, а у самой грани не остаётся и его.

За последним подъёмом лес обрывается, и передо мной распахивается даль. Я останавливаюсь сам, без всякого оклика.

Я-то думал, за лесом опять пойдут трава да склон. А там пустошь. Огромная мёртвая равнина, где нет ни деревца, ни кустика, ни единой травинки, один лишь серый растрескавшийся камень, сколько хватает глаз. И широка она без меры: выйдешь поутру, и к полудню не перейдёшь. Ничто на ней не растёт и ничто не шевелится, даже ветер сюда не залетает. Лежит безжизненная ширь под мутным небом, и такая стоит тишина, что звенит в ушах.

А на дальнем её краю встаёт стена.

Снизу, из деревни, я различал её лишь серой чёрточкой у самого окоёма и думал, что там-то и сходятся небо с землёй. А оказалось, что это стена. Даже через всю мёртвую равнину видно, какова она: тёмная, гладкая, без единого шва, она уходит ввысь, пока не теряется из глаз, будто её и не выкладывали вовсе, а стояла она здесь испокон, ещё прежде самих гор. Как ни далека она, а всё равно высится надо всей пустошью громадой в полнеба. И небо над ней темнее нашего: у нас день, а там ещё непроглядная ночь.

Дед становится рядом. Козы сбиваются у наших ног и дальше на голый камень не идут — стоят, подрагивают.

— Дальше нейдём, — произносит дед вполголоса. И, не отрывая глаз от равнины, от стены: — Слушай сюда, малец. Один раз скажу, запомни накрепко. Близко не подходи. Долго не гляди. А ежели станет кто говорить у тебя в голове — не слушай и беги.

Я смотрю на него во все глаза. Слова чудные и пугающие, а кругом пусто: мёртвый простор, стена вдали да мы двое. Кто тут заговорит? Да и с кем говорить?

— Кто, дед? Тут же ни души.

Но дед глядит ниже стены, вдоль её подножия, туда, где у самого камня, на дальнем краю равнины, залегла долгая гряда. Её-то я поначалу и принял за холмы под стеною. И лицо у деда теперь такое, каким я его отроду не видел: серое, застывшее, и губы чуть шевелятся, будто он не то молится, не то ведёт счёт.

И тут я вижу, что гряда дышит. Медленно, едва заметно, она вздымается и опадает. И снова. Протяжнее и тяжелее, чем дышит хоть что-нибудь живое. Я смотрю не моргая, и она понемногу складывается в очертания, как в углях, если вглядываться подолгу, проступает

скрытый рисунок. Вот горб. Нет, не горб, а хребет. Вдоль него два гребня поменьше, сложенные крылья. Вот бок, длинный, как целый горный кряж. И тогда я понимаю: вся та даль под стеною, что я принял за холмы, и есть оно.

Я охватываю его взглядом целиком, от края до края, и всё не верю, что это одно живое тело, а не цепь холмов. Вдалеке над ним дрожит и плывёт воздух, как марево над пашней в полуденный зной. А тень его, упавшая на нашу деревню, укрыла бы разом и дворы, и поля, и реку. И оно живое. Живое! И спит.

И, сам не знаю почему, мне совсем не страшно.

Во мне поднимается что-то безымянное, подступает к самому горлу. Будто всю мою недолгую жизнь я чего-то ждал, не ведая чего и не умея даже спросить, а оно, оказывается, вот: лежит на краю мира и дышит. И оттого, что оно есть, всё вокруг — и стена, и стылое небо, и я сам — вдруг делается больше и важнее. Словно мир мой был до сих пор тесной клетью, а теперь её внезапно распахнули настежь, и за нею открылось то, чему нет ни конца, ни края. Меня тянет к нему, но не из удали. Так тянет малое дитя к огромной смирной собаке: подойти, коснуться, прижаться, чтобы оно знало, что я рядом. И ноги сами несут меня вперёд, под гору, на мёртвую равнину, к нему. Я делаю один шаг, сам того не замечая. И другой.

Дед хватается меня за плечо, жёстко, до боли, и рывком отдёргивает назад, так что я едва не падаю.

— Ты что! — он не кричит, а шипит сквозь зубы, и в этом шёпоте страх, и страх тот старше самого деда, древнее его седин. — Видал? Потянуло тебя. Их завсегда первым делом тянет. Так и берёт.

— Кого — их? — Язык не слушается. — К-кого берёт?

— Тех, кого оно опосля и сводит с ума. — Дед не выпускает плеча, и пальцы его подрагивают. — Оно тут лежит от веку, дольше деревни, дольше всякой памяти. Дед мой им меня страдал, а его — его дед. Никто уж не помнит, откуда оно взялось и на что. А чего не помнят — того и страшись пуще всего. Запомни, малец: оно не наше. Оно большое, а мы при нём малые, мельче мошки. И покуда оно тут, под боком, — мы и не сами по себе. Оно во сне в башку влезет и поведёт, куда схочет. Понял? Понял меня?

Я не понял. Да я и половины слов не расслышал. Но плечо ломит от его хватки, лицо у деда серое, руки трясутся, и от этого, а не от его слов, мне и делается худо.

И тот тёплый свет, что поднимался во мне, гаснет вмиг, будто задули свечу. А на его место приходит иное: тонкий, сосущий холодок под самым сердцем. Я снова смотрю на спящую громаду и вижу её теперь по-другому. Не диво. Не чудо. Тёмную, чужую, неведомую тяжесть, что нависла над нами, над всеми. И впервые в жизни думаю: а ну как оно проснётся? Сейчас, при мне? Ноги подкашиваются, и я тяну деда за рукав: вниз, вниз, домой. Страх вливается в меня студёным потоком.

— Идём, идём, — бормочет дед уже мягче и сам спешит прочь. — Только не озирайся.

И мы поворачиваем назад.

Спускаться и легче, и страшнее разом: спина открыта стене, и всё чудится, будто вот сейчас там, позади, шевельнётся, поднимется. Я не оглядываюсь, ведь дед не велел. А склон словно пробуждается. Опять появляются деревья, сначала те же кривые карлики, потом всё выше, стройнее и зеленее, снова стелется под ногами мягкая рыжая хвоя и тянет смолой, снова выстукивает дятел и мелькает белка. И где-то впереди, внизу, разливается тот самый птичий хор, что встречал меня поутру, набегает навстречу, точно тепло из протопленной избы. Козы оживают и разбредаются, бойчее позвякивает колокольчик. Им хорошо. Они уже всё забыли, если вообще понимали.

А я не забыл. Я уношу с собою вниз, в тёплую деревню, к дыму и реке, новый холодок под сердцем.

* * *

Дождь. На столе остывает чай. Всё как было.

Я сижу там же, где сидел. Капля на стекле снова всего лишь капля: по часам не минуло и мгновения, она и сорваться-то не успела. А я прожил на том стылом склоне целое утро и к полудню уже спускался обратно.

И руки мои — снова мои: большие и тёплые. Я разглядываю их дольше, чем нужно. Так всегда после возвращения: минуту-другую я и сам не вполне здесь и не вполне уверен, что настоящее — это комната, дождь и тепло, а вовсе не тот, другой мир, со склоном и стеною.

И во мне теперь поселился чужой страх, не мой, мальчишеский, тот самый, что родился в нём у меня на глазах. Я принёс его сюда, как приносят на одежде запах чужого дома. Он осядет, я знаю, и к утру я снова стану почти собою. Почти. И до чего же мне жаль мальчишку, так жаль, что щемит в груди, и горько, что ничем ему не помочь: гостю здесь не дано ни рук, ни голоса — одни глаза. Одно мне остаётся — помнить.

За окном моя любимая сосна, мокрая, тёмная, живая. Я гляжу на неё, а вижу иное: стену, и под нею спит тот, кого однажды погубит страх людей. Страх этот старше мальчика — но не переживёт его: он дошёл до края. Из колена в колено его несли, и всякий раз он делался больше; а сегодня утром я видел, как передали его в последний раз — от деда к внуку.

Когда-нибудь я увижу и того, в чьей руке он созреет.

Глава 2. Кузница



Горн дышит мне в лицо ровным, привычным жаром; я не отворачиваюсь и не шуюсь. В белом сердце углей лежит полоса железа, с которой я не свожу глаз. Вот она наливается из вишнёвой в жёлтую, всё светлее — пора. Раньше выхватишь — не возьмётся под молотом, упрямится; передержишь — пережжёшь, брызнет искрами, и металл уже не металл, а труха. Всё дело в цвете. Цвет — это язык, и я его понимаю с малых лет.

Беру полосу клещами, кладу на наковальню. Молот сам ложится в руку, тяжёлый и обкатанный, знакомый мне лучше собственного кулака. Бью. Раз, другой, третий, раскатываю железо в лезвие, веду от обуха к жалу. Под каждым ударом оно плющится и тянется, и чёрная окалина слетает чешуйками, обнажая чистый, живой металл. Наковальня отзывается одной звонкой нотой, и гул её потом стоит у меня в голове весь день, а случается, и ночью. Рука давно не думает, знает сама, когда повернуть, куда положить удар и с какой силой. А голова тем временем вольна и гуляет где вздумается. Вот это и значит — уметь: руки делают всё за тебя, а ты будто и ни при чём.

Бэрин сидит напротив, на низкой скамейке, грузный и седой, сложив руки на коленях. Сам он давно уже не кузнечит, но глаз у него остался прежний, и по нему я сверяюсь вернее, чем по металлу. Молчит Бэрин — значит, иду как надо. Хмыкнет, поведёт бровью — стало быть, стой да гляди, что напортачил.

— Тоньше у жала, — говорит. — Не жалей. Тупая коса не режет, а мнёт, и морока с ней — и косарю, и лугу.

Я киваю и веду тоньше. Это лезвие он, поди, давно отковал в уме, а теперь сидит и смотрит, как я работаю. Пришёл я к нему мальчишкой лет десяти, тощим, как хворостина. Родителей своих я не знал, рос при деде, а когда дед помер, остался один как перст. Бэрин и взял меня к себе, то ли сироту пожалел, то ли руки в кузне были нужны. А вышло так, что стал он мне за отца, и кузница эта теперь мой единственный дом.

Стоит она на перекрёстке трёх дорог: одна ведёт к реке, другая на выпасы, третья в поля. Оттого мимо то и дело тянется народ: кто коня перековать, кто обод подтянуть, кто косу с серпом к жатве наладить, а кто и без всякого дела, просто постоять да послушать, чем нынче живёт деревня. Бэрин ворчит, что держит не кузницу, а постоялый двор, и грозитя всех разогнать, да только не всерьёз: без чужого говора ему и самому скучно.

Опускаю косу обратно в горн, надо догреть её перед закалкой. И в тот самый миг, когда от углей пышет так, что щёки печёт, под сердцем проходит холодок. Будто изнутри тронул меня кто ледяным пальцем. Чувство это мне знакомо. Оно живёт во мне с детства, само по себе, и приходит, когда не ждёшь: посреди жары, посреди работы, без всякой причины. Повожу плечами, налегаю на мехи, угли вспыхивают добела, жар наваливается гуще, и холодок тонет в нём, как тонул всегда.

Жду, пока лезвие нальётся ровным вишнёвым цветом по всей длине, и тогда одним движением опускаю его в кадку с водой. Сталь шипит, вверх бьёт облако горячего пара с кислым железным духом, вода всхлипывает и кипит. Достаю — и вижу: лезвие потемнело, схватилось, стало твёрдым и злым на ощупь.

Бэрин принимает косу, ведёт большим пальцем вдоль жала, не остроту пробует, а будто чует металл кожей.

— Закалил добро, — говорит. — Только отпустить не забудь, не то по первому камню и лопнет.

И кладёт косу на верстак. Больше ни слова, но у него и это вместо похвалы.

— А пока поди отдышись, — роняет погода. — Заслужил.

Я скидываю кожаный передник, утираю лицо рукавом, который уже всё равно не отстирать, и выхожу за порог.

День обрушивается на меня разом. Красная полутьма, где всё видишь сквозь дрожащее марево жара, остаётся позади, и чистый белый свет бьёт по глазам так, что я невольно щурюсь. Гаснет рёв пламени, смолкает звон наковальни, и наступает тишина, полная мелкого живого шума: лениво брешет где-то собака, гогочут у реки гуси, стучит за дворами топор, судачат у колодца бабы. Прохладный текущий воздух льнёт к разгорячённой спине, и пот мгновенно стынет, а по телу пробегают сладкий озноб. Стою, дышу и всё не надышусь.

Веет всем разом: речной свежестью и печным дымком из крайней избы. Так пахнет обжитой, живой край, и всё это знакомо мне до мелочей. Небо высокое, летнее. И до того мне сейчас хорошо и ладно, что больше ничего и не надо.

У коновязи, в тени, подпирает столб Релан — сосед, парень одних со мной лет, что родился, кажется, уже уставшим: где сядет, там и прирастёт. Никаких дел у него отродясь нет, зато новостей полная пазуха.

— Тавен! — окликает он, обрадовавшись живой душе. — Слыхал, нет? У соседей корова ночью отелилась — телок о двух головах, не сойти мне с места! Бабка Веда говорит — знамение.

— Бабка Веда и в прошлом году всем погибель сулила, — отвечаю. — А мы всё небо коптим.

Релан хохочет, ничуть не обидевшись. Ему ведь и не важно, верю я или нет, важно, что есть кому рассказать.

От реки, с полными вёдрами на коромысле, подходит Гэйда, наша соседка, вдова, языкастая на всю округу: что на уме, то и на языке, и чужая беда у неё всегда под рукой. Идёт, ясное дело, мимо кузницы.

— Бэрин у себя? — спрашивает и кивает на дверь. — Обруч мне на кадку набить обещался.

— У себя, у себя. Заходи.

Только Гэйда не спешит. Опускает вёдра, подбоченивается, и по лицу видно: припасла что-то повесомее Реланова телёнка.

— Про мальчика с нижнего конца слышали? — голос понижает, хоть кругом ни души. — Меньшой, годков восьми. С утра ушёл со двора — и как сгинул. К горе, говорят, в лес подался. Мать криком кричит.

Релан сплёвывает через левое плечо. А у меня снова холодок.

— К стене потянуло, — роняет Гэйда и поджимает губы. — Известно, кого туда тянет. Назад таких не ждут.

И мы все трое смолкаем. Про стену я знаю больше любого в деревне. Знаю и то, каково это, потому что и меня когда-то поманило, ещё мальцом, когда дед впервые повёл на верхние выпасы. Всё встаёт передо мной, как было: как держал он меня за плечо, до синяка, как шипел сквозь зубы. И наказ его помню накрепко: близко не подходи, долго не гляди, а ежели станет кто говорить у тебя в голове — не слушай и беги. Тогда я того не понял. Да и теперь понимаю немного, а только холод, что вошёл тогда, так во мне и остался. Но про такое вслух не говорят, а уж про то, что сам там был, и подавно.

— Сыщется, — говорю, лишь бы не молчать. — Заплутал по малолетству, к ночи и вый-дет.

Гэйда косится на меня, видно, что не верит, подхватывает вёдра и идёт в кузницу, к Бэрину. А Релан вдруг замечает вдалеке знакомого и мчится к нему с новостями: про телёнка, у которого уже целых три головы, и про мальчика, который у него дошёл до самой стены и оттуда кличет мать.

Остаюсь во дворе один. Передохнул, и хватит, пора обратно к горну. Остаток дня так и уходит: ещё одна коса, обод на телегу, чей-то затупившийся топор. Мимо всё идёт и идёт деревня, кто за делом, кто посудачить. И за работой я не замечаю, как день клонится к вечеру.

Солнце скрылось за лесом, от реки потянуло сыростью, в избах зажелтели первые окна. Завтра снова будет звон молота, и Бэрин на своей скамейке, и Релановы небылицы, и так изо дня в день. Жизнь моя пригнана по мне, как рукоять по ладони, и лучшей доли я себе не прошу.

* * *

Над лесом взошла луна, проступили звёзды, частые и яркие. С реки несётся лягушачья перекличка, в траве звенят сверчки. Я сижу на крыльце, остываю после работы, и на душе у меня покойно и лениво.

По тропе от деревни кто-то идёт, шаг лёгкий и скорый, и я уже знаю, кто. Майра. Внучка Бэрина, да только мне одного этого слова давно уже мало.

Идёт она в лунном свете, а я, точно мальчишка, засматриваюсь и ничего не могу с собой поделать. Невысокая, крепкая, в деда статью; руки рабочие, не белоручка. Тяжёлая коса цвета тёмного мёда переброшена через плечо и лежит на груди. Лицо круглое, обветренное, нос в веснушках, что густо высыпали за лето. А глаза быстрые и тёмные, и вечно в них смешинка, будто знает она про тебя что-то да помалкивает. Не первая на деревне красавица, но для меня милее нет.

— Слыхал? — ещё издали. — Нашёлся!

— Кто? — а сам уж понимаю.

— Да малец, о ком Гэйда нынче трезвонила. — Подходит, переводит дух. — Цел-целёхонек. На реке весь день просидел, у омута: рыбу руками ловил, увлёкся да про всё на свете и забыл. К ночи сам явился — голодный, довольный. Ох и влетело же ему! Мать сперва обмерла, потом наревелась, а потом всыпала по первое число: он теперь до зимы к реке не подойдёт.

И что-то отпускает меня. Не тот холод, а другое — дневная тревога, что копилась во мне с самой Гэйдиной вести. Жив малец. Не стена, не сон, не чужой голос в голове, а всего лишь река да рыба. Я улыбаюсь.

— И чего ты сияешь? — Майра прищуривается, и в голосе хитринка. — Будто тебе праздник.

— Живой — вот и ладно, — говорю, а сам отвожу глаза.

Она глядит на меня чуть дольше, чем надо бы, и я чувствую, как от шеи вверх поднимается жар, тот самый, кузнечный, только горн тут ни при чём.

— Дед спит?

— Спит. Сморилу.

— Тогда будить не стану, — говорит тихо. — Доброй ночи, Тавен.

— Доброй, Майра.

Она идёт обратно тропой к деревне. Я стою и гляжу ей вслед.

Вот оно как. Малец-то на реке сидел да рыбу ловил, а я знаю место, куда таких, как он, может утянуть насовсем.

Стену эту, чёрную, что стоит за лесом на самом краю всего, я гоню и гоню из головы. А она всё настойчивее напоминает о себе.

Глава 3. Бэрин



На следующий день прихожу к кузне первым, затемно. Отпираю, распахиваю ставни. Разгребаю золу — под ней ещё держится вчерашний жар. Раздуваю его, подкладываю лучину, следом уголь, и кузня мало-помалу оживает: краснеет горн, теплеет воздух, по стенам ложатся знакомые тени. Пока встанет солнце, у меня уже всё готово к работе.

День идёт обычный, каких много: приводят лошадь на перековку, несут залатать прохудившийся котёл да поправить дверную петлю. К середине дня приходит и сам Бэрин.

За окном понемногу вечереет, а Бэрин против обыкновения не уходит, сидит на скамье, как сел с полудня. Глядит, как я управляюсь, и молчит нынче не по-всегдашнему. Не одобряет, не корит, а будто что-то тяжёлое лежит у него на душе, и всё он не решится это сказать.

Я не тороплю. Захочет — скажет; Бэрина не расшевелишь, покуда он сам не созреет.

И тут в дверях появляется Майра. Пришла за дедом: пора, мол, ужинать, засиделся. Встаёт на пороге, уперев руки в бока, оглядывает сперва одного, потом другого и качает головой.

— Вот они, — говорит. — Один куёт, другой глядит. А каша стынет.

— Погоди, — роняет Бэрин, не двигаясь. — Дело есть. Побудь.

Она чувствует, что дед не шутит, и разом смолкает. Заходит, садится на чурбак у стены. И мне становится не по себе: не упомню, чтоб Бэрин когда-нибудь этак собирался с духом ради простого разговора.

Он молчит ещё с минуту. Потом заговаривает, но не со мной и не с ней, а будто с остывающим горном:

— Стар я, дети. Руки не держат, спина не гнётся. Всё вон на нём. — Кивает на меня, не глядя. — Кузню я больше не тяну. Да и незачем: есть кому.

Поворачивается ко мне.

— Твоя теперь кузня, Тавен. Бери. Чего ей за мной доживать, — говорит просто, будто про завтрашнюю погоду.

Слов у меня нет. Пришёл сюда когда-то мальцом, к чужому горну, а выходит, я теперь хозяин всего этого. Только и могу, что глядеть на него, на закопчённые стены, на наковальню, словно впервые вижу.

— Бэрин, я...

— И будет, — обрывает он меня, потому что ему и самому неловко. Но глаз не отводит, глядит уже иначе, тяжелее. И, выждав, глянув на Майру, добавляет тише: — А второе дело вот оно. Майру бери. Отдаю за тебя.

Тишина. Майра вспыхивает вся, до корней волос. А у меня в груди ухаёт и делается жарко. Я гляжу на неё, она на меня, коротко, из-под ресниц, и оба мы молчим.

— Ладно вам, — говорит Бэрин, а голос у него совсем не сердитый. — Слепой я, что ли. Год гляжу, как вы друг на друга заглядываетесь. Дело молодое, законное. — Хмурится. — Одно скажу, Тавен: обидишь её — из-под земли достану. Понял меня?

— Понял, — говорю.

Майра встаёт, чтобы занять чем-нибудь руки и не глядеть на нас, принимается прибирать что под руку попадёт. Возится, а сама нет-нет да и улыбнётся себе под нос. Бэрин смотрит на неё, и лицо у него смягчается, а после снова твердеет, будто он что-то про себя решил.

— Поди в избу, — говорит ей. — Собери на стол. Мы следом.

Она уходит. У порога оборачивается, коротко глядит на меня и скрывается в темноте двора.

В кузне мы одни. И тут Бэрин делается совсем другим: серьёзным, серым и старым, будто он разом сдал на много лет.

— Раз берёшь её, — говорит глухо, — про родню её знать должен. Отчего она при мне росла, а не при отце с матерью. Не спрашивал ты — а я скажу.

— Сын у меня был. Отец её. — Бэрин глядит в пол. — Охотник, каких мало. И сгинул. В том лесу, что на горе, у стены.

Внутри у меня всё падает.

— Олень его туда завёл, к самой опушке, — тянет Бэрин. — Он и пошёл: не робкого десятка был. Ушёл поутру, ещё затемно. И — всё. Ни к ночи, ни назавтра, ни после. — Замолкает надолго. — Искать в тот лес никто не идёт: знают, кто туда ушёл — назад не воротится. А я пошёл. Сам.

Он поднимает на меня глаза.

— Про лес тот рассказывать тебе не стану. Ты его снизу видал, из деревни, — и будет с тебя. Одно скажу: шёл я долго. Дальше, чем след. Меня так просто не своротишь — вот и держался там, где другой давно бы вспять кинулся. Звал сына. А голос не летит, вязнет — ровно в вату кричишь.

Он умолкает, сглатывает.

— И вышел я к месту... Кости там, Тавен. Людские. Груды. Белые, старые, у самого камня — не счесть их. Лежат от веку, не тлеют. Сколько народу за все годы туда сошло — все там и легли.

— А сын? — вырывается у меня.

— Не нашёл. — Качает головой.

Молчит. Я не тороплю.

— Поднял я глаза от тех костей — и увидел его.

— Кого?

— Ты стену издали примечал. А под нею, вдоль всего подножия, гряда лежит — ну, думаешь, холмы. И я думал. Покуда близко не подошёл. — Глядит на меня в упор. — Дышит

оно, Тавен. Медленно, тяжело. Пригляделся — а это не холмы: спина, крылья сложены, бок во всю гору. Живое, и огромней всего, что я видывал.

— И подступил я к нему так близко, что глаз его разглядел, — говорит, а сам будто дивится тому, что произносит. — Полуприкрытый, а величиной с ворота. Стою — и в него гляжу. И скажу тебе, Тавен, — верь не верь: нету в нём зла. Я на своём веку в разные глаза глядел, и в звериные, и в людские, злобу распознаю. А тут... не злоба. Тоска не тоска, усталость не усталость. Спит оно — и дела ему до нас нет. Не оно нас губит. Не оно.

— А кто же?

— Стена. — И лицо у Бэрина каменеет. — От неё стужа, от неё зов. Стоял я, в глаз тот глядел — и чую: тянет. Не словами — так, изнутри: подойди, мол, ближе, ступай к стене. Тихонько тянет, ласково. И ноги сами пошли. — Сжимает кулаки. — Кабы не крепок был — ушёл бы к ней. Как они все ушли, чьи кости там белеют. Насилу опамятовался. Развернулся да бежать — покуда лес живой не пошёл, покуда птицу не услышал. Тут только и повалился.

Он оседает весь, точно только что вернулся оттуда наяву.

— Пришёл я один. Без сына. А жена его, Майрина мать, всё ждала — не верила, что сгинул. Извелась, слегла, и году не минуло — померла. С тоски. — Глядит в сторону избы. — Осталась мне внучка. Одна. Её и ращу.

Мы долго молчим. Горн потрескивает и гаснет. А за дверью кузни живёт себе тёплая деревня и знать не знает, о чём мы тут говорим.

— В деревне-то, — говорит Бэрин чуть погодя, — всё на него валят. Дескать, оно людей приманивает да пьёт из них душу. А я своими глазами видал — и не верю. Спит оно. Это стена всех берёт. Да кому втолкуешь. Молчу уж. Кто там не был — не поймёт.

— Про глаз-то — верно! — внезапно раздаётся знакомый голос.

И тут только я вспоминаю про Релана. Он с полудня торчал у ворот, привалившись к столбу, и, видать, дремал вполглаза, пока не долетела до него история Бэрина. Тут и очнулся.

— Про глаз ты, дядя Бэрин, в самую точку! — лезет он, подходя, и его собственные глаза загораются. — Мне прадед сказывал: глаз у него колдовской! Кто глянет — пиши пропаю: тянет тебя, тянет, а подошёл — оно тебя враз и высосало, одна шкурка. Оттого костей и полно! Говорил, оно древнее самих гор. А по ночам оно тут летает, тихонько, — деревню облетит, высмотрит, кого...

— Спит оно, Релан. Никуда не летает, — перебивает его Бэрин.

— Ну, может, и не летает, — соглашается легко, ничуть не сбившись. — А пьёт — это точно. Мне верно сказывали: у заречных корова на ту сторону забрела, воротилась пустая — глаза стеклянные, молока ни капли. Оно, кто ж ещё! — И тут его осеняет. — Да это ж та самая корова, что намедни телком о трёх головах отелилась! Сходила туда, оно из неё попило. Тут дело ясное: в гости, вишь, к нему навевывалась.

Бэрин только рукой махнул: спорить с Реланом всё одно что решетом воду носить. А тот уж пошёл сыпать небылицу за небылицей, и не остановишь.

А я сижу и не слышу его вовсе. Потому что во мне наконец сошлось то, что долго не сходилось.

Меня ведь тоже тянуло. Давно, ещё мальцом, когда дед впервые повёл на гору. Дед тогда решил, что меня потянуло оно. Он всегда так думал, и вся деревня так думает. А оно-то спало. Лежало недвижно. Нет, не оно меня звало. Тянуло меня мимо, к стене, на тот самый камень, где кости. Дед просто перепутал. Свалил всё на то, что видно, чего и бояться-то сподручнее. А зло шло не от него, а от стены. Как Бэрин и говорит.

Вот, значит, откуда холодок мой, что живёт во мне с малолетства: это стена тогда оставила его во мне, там, наверху, у мёртвого края.

Я гляжу в потухший горн и не говорю Бэрину ничего. Ни о том, что сам там был. Ни о том, что и меня тянуло, но успели оттащить. А сына его оттащить было некому.

Релан наконец выдыхается, вспоминает, что где-то его ждут, и подаётся прочь. Понесёт теперь по дворам слух про глаз да про кости, и к утру, гляди, оно у него полдеревни приберёт. Бэрин, кряхтя, встаёт.

— Заболтались. Идём, стынет. — И, уже в дверях: — Ты вот что, Тавен. Про стену — помни. А деревне не перечь: пуцай на него валят, коли им так спокойней. Наше дело — туда не ходить. И детям закажи. От веку так, тем и живы.

Уходит в избу, тяжело, вперевалку. А я остаюсь.

Совсем стемнело. Прибираю, глушу горн. Всё моё отныне: и кузня, и Майра, и дом, всё разом, за один день. А радости в чистом виде отчего-то нет, в неё мешается то, что рассказал Бэрин. Тот глаз. Кости. И то, что сложилось у меня в голове про стену.

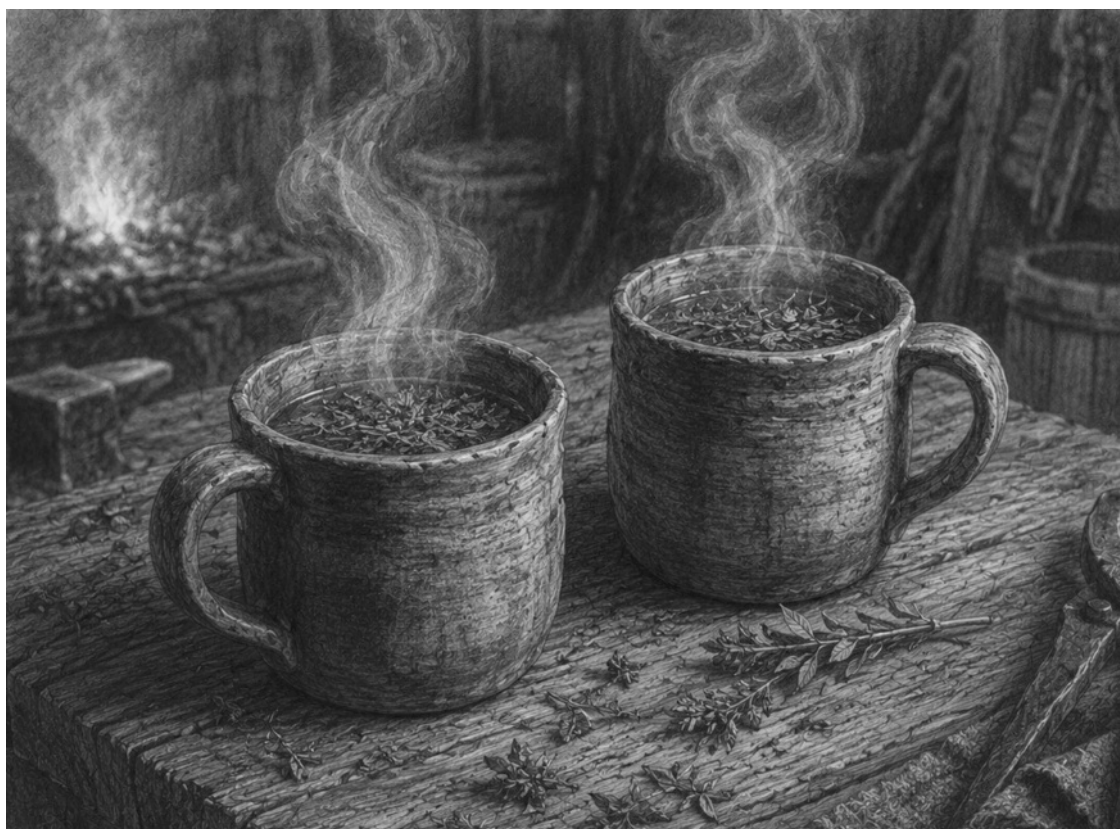
Стою на пороге и гляжу на деревню. Тихо. И думаю: спит оно у края мира, огромное, и никого не трогает. А зачем спит, отчего легло у самой стены, про то мне не скажет никто.

Тут я поднимаю глаза и вижу: по дальней дороге, той, что уходит за поля, к чужим краям, откуда к нам и путников-то не бывает, идёт человек.

Идёт ровно, неспешно, ничуть не притомившись, хотя до тех земель не день пути. Высокий, тёмный, лица не разобрать. Ни котомки за спиной, ни посоха в руке, налегке, будто вышел из-за соседнего плетня. И ступает так, словно наперёд знает, куда идёт: прямо сюда, к перекрёстку, к моей кузне.

Я стою у порога и жду.

Глава 4. Незнакомец



С той встречи на перекрёстке трёх дорог минуло уже несколько месяцев, а я так ни разу и не погружался ни в один из моих миров, даже в самые исхоженные вдоль и поперёк. Сперва не мог. После, сказать по правде, боялся. Такого со мной ещё не бывало.

Осень в этом году стоит ясная и долгая. Вечерами я выбираюсь на веранду, сажусь в старое кресло и подолгу смотрю на закат над горами и на то, как над верхушками деревьев проступают первые звёзды. Прежде я ими просто любовался. Теперь любоваться не выходит: я видел их слишком близко.

А тот вечер я помню весь, до мелочей. Стоит закрыть глаза, и он возвращается сам: тёплая летняя ночь, кузница и высокий человек, что идёт по дороге вдаль.

Я замечаю его ещё у самого края поля, где колея выныривает из сумерек. Сперва думаю — Релан от реки возвращается. Но походка не та: Релан к вечеру ноги волочит, а этот шагает легко, будто только тронулся в путь. Я стою у дверей, смотрю, как он подходит, и никак не возьму в толк, кто же это к нам пожаловал.

При нём ничего нет. Ни котомки, ни посоха — идёт налегке, как выходят за околицу, а не с дальней дороги. И пёс у Гэйды, что брешет на всякую тень, пропустил его молча: лишь завил хвостом и ушёл обратно под крыльцо.

И вот путник вступает в свет из дверей кузни. Вблизи — человек как человек, приветливый, а всё же что-то в нём не так. Возраст не разобрать: лицо гладкое, молодое, а взгляд — много старше лица. Дорожный плащ, сапоги — и сапоги эти чистые, без единой пылинки, будто шёл он не полями от самого окоёма, а через соседний двор. И он улыбается мне, как старому знакомому.

— Добрый вечер, Тавен.

Я вздрагиваю. В деревне меня знает всякий, но этого человека я не встречал прежде, а он выговаривает моё имя легко, словно здороваются со мной каждое утро.

— Добрый... — отвечаю. — А мы знакомы?

— Будем знакомы, — говорит он, и в голосе ни насмешки, ни хитрости. — Дорога у меня длинная. В пути чего только не узнаешь. Пустишь передохнуть? — Он кивает на кузню. — И если найдётся травяного чаю, буду благодарен.

Речь у него не здешняя: слова ровные, гладкие, каждое на своём месте, — так у нас не говорят. Но гостю у нас не отказывают. Да и не выходит у меня его остерегаться: ни в лице его, ни в голосе нет ничего худого. Я отступаю, пропуская его:

— Заходи.

Бэрин с Майрой уже в избе, и в кузне я один. В углу у меня стоит небольшая печурка, на ней я обычно подогреваю воду. Развожу огонь, ставлю котелок, в кружки кидаю мяты и смородинового листа. Гость тем часом оглядывает кузню — неторопливо, по-хозяйски: наковальню, мехи, стену с инструментом. У верстака задерживается и ведёт пальцем по остывшему железу.

— Твоя работа?

— Моя, — коротко отвечаю я.

— Хорошая работа, — говорит он так, будто и вправду видит. — Ровный нагрев, ни одного лишнего удара.

Я удивляюсь про себя: откуда прохожему человеку знать про кузнечное дело? Руки у него не мозолистые, не работающие. Но расспрашивать гостя неловко, и я оставляю вопрос при себе.

Садимся за стол. Над кружками медленно тянется пар.

— Издалека идёшь? — спрашиваю.

— Дальше, чем ты ходил, — улыбается он. — За вашими полями холмы, за холмами леса, а за ними город. Людей в нём больше, чем ты встречал за всю жизнь, и почти все они друг другу чужие: у вас всякий всякого знает, а там и сосед соседа не всегда знает.

— Быть того не может... — вырывается у меня, и я тут же прикусываю язык. А он смеётся, легко и без обиды:

— Может, Тавен. Релан у вас выдумывает, а я рассказываю.

Про Релана я ему не говорил. Но додумать не успеваю — он уже ведёт дальше: за городом степь на много дней пути, и за степью народ, что весь век живёт на воде — земли под ногой не знает. А за ними море.

— А море — это что?

— Вода во весь свет, Тавен. Встанешь на берегу — другого берега нет. И не потому, что далеко. Его просто нет.

Я пробую представить столько воды — и не могу. И больше не спрашиваю — просто слушаю. А он рассказывает — так, как рассказывают про места, где бывали сами. Про зиму, что ложится на целую жизнь: дети там рождаются и старятся, ни разу не увидев травы. Про края, где солнце по полгода не заходит, и про края, где его по полгода ждут. Про пески, что звенят на ветру, и про ночи, в которые полнеба играет зелёными сполохами. Про города, вырубленные в скале от подножия до вершины. Печурка прогорает, я подкидываю полешко-другое; за дверью давно ночь, а я всё слушаю и слушаю. Это не Релановы байки: у того всё потеха да враньё. А этот говорит, будто сам там стоял, — и я верю каждому слову.

А потом начинается и вовсе странное. Разговор сворачивает на наш мост, тот, что у мельницы:

— Крепко срубили. Добротнее прежнего — того, что снесло большой водой.

А снесло его давно: меня тогда дед ещё за руку водил.

— Так ты бывал у нас прежде?

— Не доводилось, — отвечает он, и видно, что говорит как есть.

Я молчу. Не бывал — а помнит даже прежний мост.

Он отпивает из кружки, оглядывает кузню ещё раз и говорит тепло:

— Добрая кузня. И хозяин ей достался добрый.

— Хозяин тут Бэрин, — поправляю я.

— Был Бэрин, — отвечает он спокойно.

Я медленно отставляю кружку. Об этом знаем пока только мы трое — Бэрин, Майра да я, — и часу не прошло с того разговора.

— Откуда ты...

— Слухом земля полнится. — Глаза его улыбаются прежде губ.

Он смотрит мимо меня — в дверной проём, где над полями стоят звёзды.

— Хорошее у вас небо. Чистое. Скоро увидишь, как оно прохудится: звёзды посыплются сотнями, во всю ширь неба.

— Звёзды не сыплются, — говорю я. — Такого у нас не случилось никогда.

— Случится, — отвечает он. — Через семнадцать дней.

Мне бы насторожиться, да не выходит. И всё же я смотрю на него через стол и думаю: кто же ты такой, что знаешь про всё на свете и про нас больше нашего?

Гость поворачивается к печурке и долго молчит, глядя в неё. Потом заговаривает — тем же ровным голосом, каким только что говорил про мосты да сёла:

— Ты ведь огонь знаешь до тонкости, Тавен. По цвету читаешь, как по писаному. А знаешь, что такое цвет? У всякого цвета своя мера, своя частота. — Слова вроде бы простые, наши, а ухватить их мне не за что. — Огонь — это толчея бессчётных малых крупиц, таких, что их не увидеть глазом. Из них всё: и железо твоё, и вода в котелке, и ты сам. А в самой глубине они и не крупицы вовсе, а волны. Рябь на воде, которой нет.

— Смотри, — говорит он и поднимает раскрытую ладонь между печуркой и стеной. На стену ложится тень: пять тёмных пальцев, всё как положено. — Рука одна, и тень одна.

Я смотрю на тень и вдруг вижу, что пальцев на ней делается шесть. Восемь. Потом я сбиваюсь со счёта: тень расходится по стене веером, будто рук там уже много и каждая живёт сама по себе. Я перевожу глаза на его ладонь — ладонь как ладонь, пять пальцев, ни один не дрогнул.

— Так и миры, Тавен. Теней много, и каждая настоящая. А рука — одна.

Тут бы испугаться, а я гляжу как замороженный, и слов у меня не находится.

— А ещё, покуда на крупицу никто не смотрит, её как бы и нет в одном месте. Она сразу везде, где могла бы быть, — всеми путями одновременно. Посмотришь — и вот она, здесь, одна. Отвернёшься — и снова везде. — Он говорит спокойно, как о самом обычном. — И каждый раз, когда что-то может выпасть так или иначе, мир не выбирает. Он делится. Уронил ложку — она легла черпаком вверх; и тут же, рядом, есть мир, где она легла книзу. Оба настоящие, оба делятся. Тебе виден лишь один.

Я слушаю и не понимаю уже ничего. А он смотрит теперь не в печурку, а на меня, и продолжает, не меняя голоса:

— Каждая частица — волна вероятности, Тавен. Суперпозиция состояний, из которой наблюдатель всякий раз видит лишь одну ветвь. Вселенная ветвится в каждой точке, где возможен выбор, и все ветви настоящие: множественность миров — не догадка, а устройство. И в самом основании миры не разделены. Они связаны не через пространство, а поверх него — единым целым в высшем измерении. Тронь один — отзовутся все, мгновенно, через всю бесконечность.

Слова сыплются одно за другим — гладкие, чужие, не из нашего наречия. Они не держатся в голове, рассыпаются, как песок. Я цепляюсь за одно, силюсь повторить:

— А что это — суперпо... — начинаю я несмело.

Слово застрекает и не идёт. Я хочу договорить — и не могу: губы больше не мои.

Пламя в печурке перестает дрожать и стоит, как отлитое из меди. Пар над кружками недвижим, точно нарисованный. Искра, сорвавшаяся с полена, висит в воздухе и не гаснет. Тавен — я только что был Тавеном — сидит с приоткрытым ртом, и недосказанный вопрос так и остался у него в глазах. Остановилось всё.

Не остановился один гость.

И тут я понимаю, кому он всё это говорил. Не Тавену: Тавену эти слова ни к чему, он их к утру забудет. Он говорил мне. С самого начала — мне.

Я понял каждое слово. Волна вероятности. Суперпозиция. Ветвление. Он сидел за грубым столом, при печурке, и спокойно перечислял устройство мироздания — на языке, которого в этом мире не будет ещё тысячи лет. На моём языке. Я всю жизнь гляжу в каплю на стекле и ищу закон, по которому она движется, — и вот мне называют его вслух — в упор.

Он медленно поворачивает голову и смотрит. Не на Тавена — сквозь него. На меня, на того, кто сидит внутри и видит чужими глазами. За все мои хождения по мирам никто ни разу не взглянул на меня так: впрямую, зная, где я.

Глаза его только что были самые обыкновенные. А теперь в них отворяется то самое, текучее и бездонное, что прежде я видел лишь в капле на стекле. Зрачки ширятся, как ночное небо, и из бездны восходит свет — дальний, чистый, нездешний. Свет далёких галактик.

И меня подхватывает — и уносит.

Меня несёт сквозь черноту, где звёзды — не точки, а реки; сквозь свет, которому я не знаю имени. Мерить нечем: расстояний больше нет. Миры вспыхивают навстречу — не картинками, а целиком, сразу. Я не смотрю на них, я их знаю: языки, имена, тысячелетия чужих историй входят в меня разом, потоком, которого не остановить.

Океан под тремя солнцами, и в его глубине поют существа размером с гору. Города, выстроенные кольцом вокруг звёзд. Разум величиной с целую планету. Пламя в недрах светил — живое и мыслящее. Мир, который вечно падает — и не замечает этого. Мир, где время течёт вспять: там помнят завтрашний день и гадают о вчерашнем. Мир, где все знают, что снятся кому-то, — и живут тихо, чтобы не разбудить. Ледяные миры, где жизнь теплится под панцирем в километр толщиной. Чьё-то последнее утро. И поверх всего, ниоткуда, — колыбельная на языке, какого нет ни в одном из миров.

И дальше — больше, невообразимее. Миры-крохи, где вся жизнь уместается на пылинке и целый век проходит за один наш вздох. Миры, воюющие десятки тысяч лет, и миры, в которых не было войн никогда. Народы, давно оставившие плоть: теперь они — мысль, идущая между солнц. И цивилизации величиной с галактику, которым миллионы лет: звёзды у них переставлены, как камни в саду, спиральные рукава — их дороги, а смерть они помнят так, как мы помним древние болезни, — по книгам.

За один удар сердца я проживаю целую жизнь — и следующим ударом её смывает другая. Миллиарды судеб за один вдох. Я не вмещаю. Во мне нет столько места, сколько в меня льётся, а оно льётся и льётся, и я не могу закрыть глаза, потому что тела у меня больше нет.

А миры не просто мелькают — они тянут. Один хватает и не пускает, обволакивает, как омут: останься. Я вырываюсь. Но из следующего мира выйти не могу. Я захожу в него, как входил в сотни других: чьи-то руки, мысли, дыхание. Комната, стол, вечер за окном — всё привычно, всё почти как дома. И не сразу я понимаю, что не так. Человек, в котором я стою, пуст. Я заглядываю в него, как всегда, — и не нахожу ничего. Ни имени, ни детства, ни материнского голоса. Одна ровная пустота, аккуратная, как вырытая могила. А потом она резко оживает — и начинает меня вытягивать. Вот моя веранда — уже не моя: он вспоминает её как свою. Вот капля на стекле — теперь его. Я хочу уйти — и уже не знаю, как это сделать. Кресло у стола, комната, пейзаж за окном — всё это уже не принадлежит мне. Меня здесь ждали. Меня выворачивает слепым ужасом. Я хватаюсь за последнее, за собственное имя. И не могу

его вспомнить. Вокруг всё плывёт и распадается, и тут меня выдёргивает — как выдёргивают тонущего. Всё моё возвращается ко мне. Кажется, всё.

А сразу следом другой мир — тихий, тёплый, с чьим-то домом и светом в окне, и в нём до того хорошо, что я готов остаться навсегда. Не дают. Срывает — и дальше.

Иные миры мне будто знакомы. И вдруг — на единый миг — мне кажется, что я вижу свой. Своё небо, свои горы, свой дом на холме. Но задержаться не дают и здесь. Время срывается с места: годы мелькают неразличимо, века сжимаются в секунды, и мой мир уходит в такое далёкое будущее, что я перестаю его узнавать. Города поднимаются к орбитам. Машины, которых мне не понять, думают за целые народы. Там живут те, рядом с кем мы — первые люди с камнем в руке: их сила мне не по уму, их цели — тем более. И меня проносит мимо, дальше, глубже.

И куда бы меня ни бросало, в каждом мире, у самого его края, я вижу одно и то же. Стена — и под нею спящая громада. Под тремя солнцами и подо льдом, над городами у орбит и над деревней, где сходятся три дороги, — оно лежит везде, огромное, тихое, древнее без меры. Мир за миром. Стена за стеной. И всюду — оно. И одно слово бьётся у меня в голове, чужое, непрошеное, и бьётся всё чаще, всё громче, в такт мирам: Хранитель. Хранитель. Хранитель. Почему — Хранитель? Что оно хранит? От чего? Стен без счёта, у каждой — своё, но я откуда-то знаю, знаю безо всяких доказательств: оно одно. Одно на все миры сразу.

А потом мне показывают другое. Вспышка: стена — и громада под нею. Потом всё размывается — и проступает та же стена, но под нею пусто. И пусто у следующей. И у всех разом: оно исчезло — и исчезло везде, потому что оно одно. И туда, где оно было, входит тьма. Не темнота: свет звёзд остаётся, дома остаются, поля стоят, как стояли. Уходит только жизнь. Города целы — и пусты. Ни голоса, ни шагов, ни дыхания. Мир за миром гаснет — беззвучно, как гаснут окна в доме, где все уснули. Только здесь никто не проснётся. Пятно расплзается по мирозданию, медленно и всюду разом, и я не могу ни зажмуриться, ни отвернуться, ни крикнуть.

И сквозь всё это — сквозь гул миллиардов умирающих миров — издалека, словно из-за края всего сущего, доносятся два слова. Тихо. Эхом. Недосказанно:

«...теперь ты...»

И больше ничего.

Меня делается слишком мало на всё это. Я истончаюсь, расплёскиваюсь по чужим небесам; то слово — Хранитель — всё бьётся во мне, и оборванное «...теперь ты...» — вместе с ним. И когда от меня не остаётся почти ничего, всё обрывается.

Меня выбрасывает. Прежде миры отпускали мягко, как отпускает сон. Теперь же меня вышвыривает.

* * *

Я очнулся у себя, на полу возле кресла. В висках стучало, и рук я не мог унять до самого утра.

Всегда прежде я возвращался в то самое мгновение, из которого уходил, — сколько бы ни прожил внутри. В ту ночь свеча, зажжённая с вечера, догорела до блюдца. А во мне осело столько чужих жизней, что я до сих пор не знаю им счёта.

Но хуже было другое. Я вернулся — а весь ли, не знаю. Будто меня разорвало там на части и швырнуло домой, не собрав, и части эти долго не сходились в одно. Несколько дней я был чужим самому себе. Собственный дом казался ненастоящим, словно декорация: я трогал стол, дверную ручку, свою же руку — и не верил им. Что-то моё осталось там, в той черноте, и тянуло назад.

Много дней я боялся смотреть пристально на что бы то ни было: на каплю, на пламя, на звезду. Всё грозило распахнуться. А когда наконец решился и посмотрел, как раньше, —

не распахнулось ничего. Капля осталась каплей. Дверь не отворилась. Что-то во мне то ли ослепло, то ли спряталось и отходило долго, как отходят глаза после полуденного солнца.

А ещё я впервые в жизни усомнился в собственном рассудке. Не приснилось ли? Не выдумал ли я всё это, задремав у окна? Я искал доказательств, как ищет их учёный: вспоминал, сопоставлял, проверял себя — и не находил. Одно только и осталось при мне: та колыбельная, что звучала ниоткуда, поверх всего, — на языке, которого нет и не будет ни на нашей земле, ни в одном из тех миров. Я могу напеть её и сейчас, с любого места. Откуда она во мне, если я нигде не мог её слышать?

А те два слова не отходили вовсе. «Теперь ты». Я вертел их так и эдак, ночами напролёт, месяц за месяцем. Их сказали после всего — после пустых стен, после погасших миров. Теперь ты — следующий? Мой мир стоит в том же ряду, и мне дали это увидеть? Или... — я запрещал себе додумывать и додумывал всё равно, — или они про то слово, что билось над всеми стенами сразу. Хранитель. Теперь ты — что? Договорить за них я не смел. Оба ответа были непосильны, каждый по-своему: один отнимал надежду, другой взваливал ношу, которой мне не поднять.

И была ещё одна мысль, от которой я просыпался среди ночи. Гость знал, где я. Взглянул — и нашёл сразу, без поиска, как находят вещь на её всегдашнем месте. Значит, обо мне знали. Может быть — всегда. Все эти годы я думал, что хожу по мирам тайком, никем не замеченный, — а если мне просто позволяли? Если всякая моя дверь была открыта не мною? Я перелистывал свою жизнь год за годом и уже не мог сказать, что в ней было моим.

Кто же он был, этот гость? Я перебрал всё, что видел и слышал в моих мирах, а видел я немало, — ответа нет. Такой же ходок, как я, только умеющий приходить весь, во плоти? Хозяин дорог, которыми я хожу без спросу? Тот, у кого все мы — и я, и Тавен, и то, что спит у его стены, — только гости? Не знаю. Даже лица его я не могу вспомнить. Я, что помню каждую травинку на каждом склоне, не помню его лица вовсе — только улыбку да тот свет в глазах.

Я думал, что понимаю своё ремесло. Что миры, в которые я ухожу, и есть всё сущее — весь мой негромкий удел. Мне показали, что это песчинка: один огонёк в поле, которому нет конца. И я, кажется, оплакивал миры, которых утром ещё не знал, — те, что погасли у меня на глазах за один вдох. Для чего всё это? Предупреждение? Назидание? Или это было приглашение — а я не расслышал? Показали — и не объяснили ни слова.

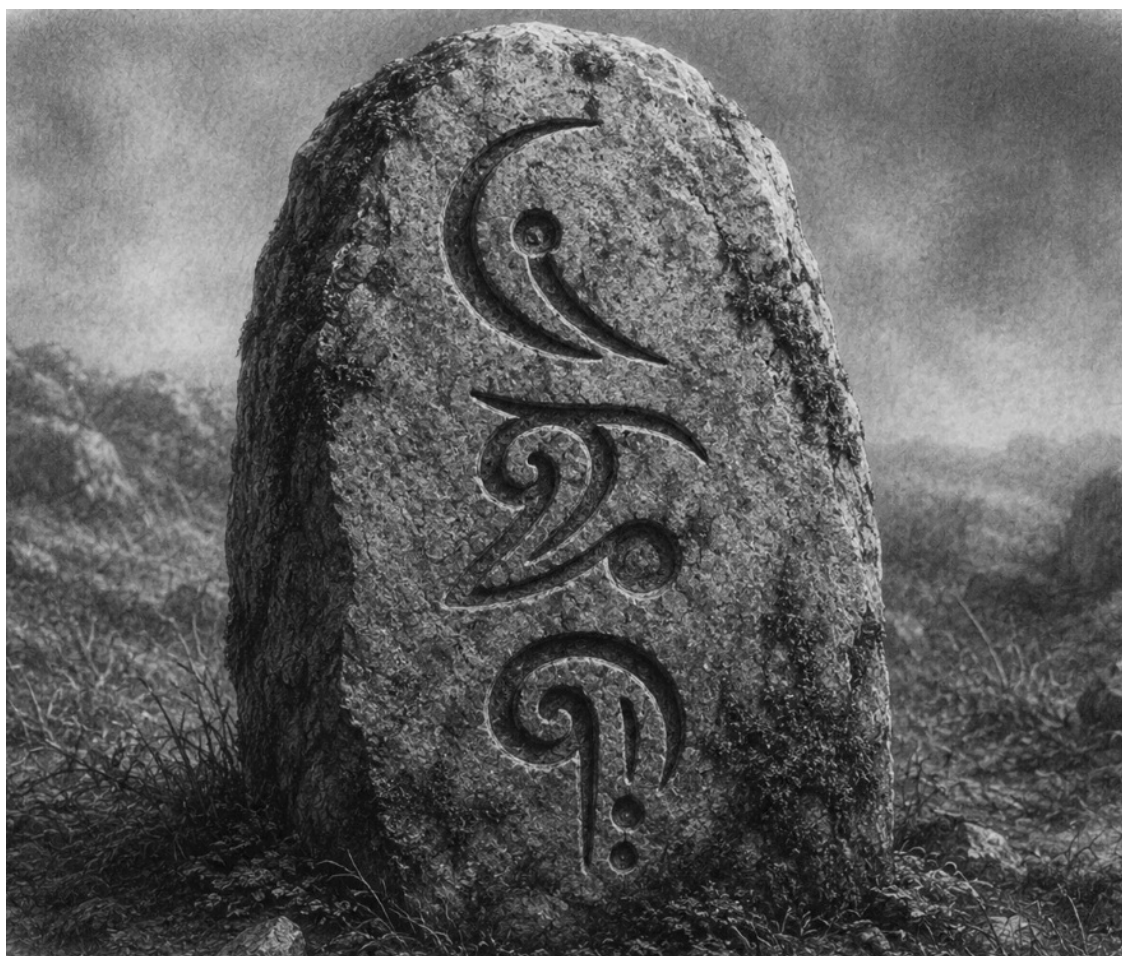
И главное. Я с самого начала знал, чем кончится история, в которую хожу столько лет. Знал — и любил её, как любят обречённых. Но я думал, что это будет одна смерть. Одна деревня, одна гора, один мир, который однажды догорит и погаснет, — и я останусь его помнить. Мне показали, что это не так. То, что спит за Тавеновой равниной, спит у каждой стены — а стен этих без счёта, и оно одно. Когда его не станет здесь, его не станет всюду. Стены осиротеют в один и тот же миг — все сразу. И в каждый из тех миров — в поющий океан, в города у орбит, в тот тихий дом со светом в окне — войдёт тьма. Вся эта бесконечность погаснет вместе с моей маленькой историей. Вот чего я не знал. И вот с чем теперь живу.

А Тавен остался там: за столом, против гостя, с недосказанным словом на губах. Что было в кузне дальше, я не знаю. Ушёл ли гость своей дорогой, помнил ли Тавен наутро хоть что-нибудь — из всего, что я унёс с собою, это мучило меня сильнее прочего.

Сегодня вечер ясный и тихий. Над соснами проступила первая звезда, и я гляжу на неё, не отводя глаз, как глядел когда-то на каплю. И чувствую: грань подо мною снова тонка.

Пора возвращаться. Я должен узнать, что стало с Тавеном.

Глава 5. След



Гость оставил мне на прощание два слова — *«Теперь ты»*. Всё это время я подставлял к ним продолжения, как подбирают ключи к чужому замку. *Теперь ты* знаешь всё. *Теперь ты* — следующий. *Теперь ты* — Хранитель. А под утро, со злости, я нашёл и вовсе простой ключ — тот, что достраивает не хвост, а начало: «Посмотри, сколько хлопот, — *теперь ты* ещё тут навязался». Каждый подходил, и это всё больше сбивало с толку. Но я искал единственный: так устроено всякое знание, какому меня учили, — из десятка объяснений выживает одно.

И вот в одну из ночей я вдруг замер — и рассмеялся. Мне ведь всё уже объяснили. Там, в кузне, за грубым столом: рука одна, а теней много, и каждая настоящая. Мир, где может случиться и одно и другое, не выбирает между ними: в нём случается всё сразу. Если он устроен так, то и те «теперь ты» устроены так же. Фраза не ждёт, чтобы я выбрал ей окончание. Она закончена. *Теперь* — *ты*. И все её смыслы истинны разом, как тени одной руки.

Кстати, пора мне признаться в том, в чём я не признавался и себе самому. Фразу «я ухожу в мои миры» я говорю по привычке, но выбора у меня никогда не было — ни мира, ни времени, ни того, чьими глазами смотреть. Выбирают всегда за меня: мне позволяют пройти и показывают то, что я должен увидеть. Я звал это своими странствиями — так лодка, должно быть, зовёт своим путём то течение, которое её несёт. После той ночи обманываться не выходит: меня ведут. Осталось понять, куда и для чего.

И раз уж начал, признаюсь в главном, о чём молчал даже на этих страницах. Входя в любой мир, я уже знаю, чем закончится его история. Не подробности, а итог. И это знание приходит само, с первым чужим вдохом, а откуда — я давно перестал спрашивать. Мир Тавена не исключение. С самого первого дня я знал: то, что спит у стены, не убьют годы. Его убьёт страх. Людской, простой. Я только не знаю, чей это будет страх, кто донесёт его до стены и какой дорогой, что станет с миром после. Итог мне показали, путь — нет. Потому я и хожу туда столько лет, как исследователь, которому открыли последнюю страницу книги: развязка известна, но нужно понять, как она сделалась неизбежной.

Сегодня звезда над соснами горит ярче прежнего. Я смотрю на неё и прошу — молча, неизвестно кого — только об одном: пусть мне покажут его живым.

И всё исчезает.

* * *

Деревню мы проходим краем, не сворачивая к дворам. Но у последних плетней меня всё же настигает звук: где-то в глубине улицы бьют по железу — часто, звонко, с оттяжкой. Косу отбивают. Рука моя сама сжимается в кулак, будто удар пришёлся по ней. Майра не оборачивается и ничего не говорит, только находит её на ходу и разжимает, палец за пальцем.

За деревней дорога ныряет в поля, и звон быстро утихает. Поля тут невелики, и скоро деревья снова смыкаются над головой. Лето на исходе: по утрам трава седая от росы, и дыхание идёт паром, пока не пригреет.

Мы идём с весны. Путь нам когда-то расписал один прохожий человек — от нашей околицы и до самого края света: за холмами леса до окоёма, за лесами город, за городом степь на много дней, за степью люди, что весь свой век живут на воде, а дальше — море. Сверяемся с его словами, как с зарубками. Холмы сошлись с его рассказом — и кончились ещё до сенокоса. Теперь начинаются леса.

Лес здешний не чета нашему горному. Тот весь на виду — светлые сосны да камень, — а этот старый, глубокий, и нрав у него свой. Дубы в нём такие, что мы с Майрой, взявшись за руки, не смогли бы обхватить ствол; кора у них толстая и тёмная от сырости с северного бока. Свет сюда не падает, а процеживается — зелёный, медленный, и в самый полдень под кронами стоят сумерки. Пахнет прелым листом и стоячей водой. Днём тут полно негромкой жизни: трескотня сорок, беличья возня, голубь сорвётся с ветки — и опять тихо. А к ночи лес смолкает весь, разом, и будто слушает. Мы разводим огонь в старых кострищах у обочины — их тут много, обложенных валунами, и копать на них — в палец толщиной. Я гляжу на этот нагар и думаю: сколько же народу грелось здесь до нас. Эта дорога старше всех деревень, что стоят при ней.

Раз под вечер мы выходим к прогалине; у обочины стоит камень — серый, мне по плечо, вкопанный накрепко. Сверху вниз по нему идут знаки: не буквы, а глубокие борозды, наполовину заросшие мхом. Я счищаю мох ладонью и веду пальцем по бороздам. Холодные. Спрашиваем у прохожего старика с вязанкой хвороста, кто его поставил. Тот пожимает плечами: стоял до деда, простоит и после внуков; дорогу показывает верно — и весь с него спрос. Мы задерживаемся у камня дольше, чем нужно. Выходит, мир помнит куда меньше, чем прожил. И никого, кроме нас двоих, это не занимает.

Кормит нас сама дорога. Где есть кузня, я становлюсь к чужому горну: правлю косы, тяну обручи, клепаю вёдра — и в тот день у нас есть и хлеб, и ночлег. Где кузни нет, добытчица Майра: отцовский лук у неё всегда при себе, и рука отцовская, охотничья. А где не нужны ни железо, ни дичь, там платим рассказом. Этому дорога нас тоже выучила: за иную боль наливают щедрее, чем за работу.

В полдень, на привале у ручья, Майра молча берёт лук и уходит в березняк. Я не поднимаю головы: знаю, что скоро вернётся. Она возвращается с парой рябчиков у пояса, садится рядом и принимается их ощипывать. За эти месяцы нам стало хватать десятка слов на день.

Об одном я ей не говорю. Холодок мой — тот, что живёт во мне с малолетства, — в дороге затих. Неделями его не слышу. Чем дальше от дома, тем ровнее у меня в груди, и я не знаю, радоваться тому или нет. Значит, он и вправду был не мой. Он тянулся ко мне оттуда, через лес и мёртвый камень, все эти годы.

Чем ближе к городу, тем деревни крупнее и более чужие. У нас прохожий человек был событием на год, а здесь на нас глядят вполглаза: мало ли кто идёт. Народу на дороге прибавляется день ото дня — тянутся навстречу возы с зерном, попутные обгоняют нас и пылят. Седой возчик, с которым мы пережидали жару в одной тени, рассказал, что до города дней шесть пути, если дожди не зарядят. И посоветовал вставать на ночлег к людям поближе: по дорогам нынче пошаливают.

Слова его мы вспоминаем уже завтра. За поворотом, в ольшанике, лежит перевёрнутый воз, колёсами кверху. Кладь разбросана по кустам: черепки, тряпьё, рассыпанное просо, которое уже делят птицы. Ни коня, ни людей. Проезжие тут не задерживаются — и мы не задерживаемся тоже. Майра молча снимает лук с плеча и несёт его в руке. Ту ночь мы проводим без огня и спим по очереди: она спит — я слушаю темноту, а потом она стережёт мой сон.

А через день нас обгоняют конные. Трое, на разномастных лошадях, без клади, зато при железе: у каждого на поясе нож не для хлеба, у переднего к седлу приторочен топор. Поравнявшись, тот, что едет первым, придерживает коня и оглядывает нас — не как людей, а как добро: стоим ли возни. Майра уже держит лук — не подняв, просто держит, и стрела уже на тетиве. Он видит это, усмехается краем рта и трогает коня. Пыль оседает долго. Мы не говорим о них ни слова, но до вечера я иду, слушая дорогу спиной.

Ещё через день, в большом торговом селе, я напрашиваюсь на дневную работу к тамошнему кузнецу — и, покончив с заказами, не ухожу. Покупаю у него обрезок доброй стали и, уже при лучине, кую себе длинный нож. Первый клинок за всю мою жизнь. Руки делают его так, будто всегда умели, и от этого мне не по себе. Майра глядит на эту работу молча — так же, как я молчу про её лук. Вопросов у нас друг к другу нет.

На следующий день к вечеру лес расступается, и мы выходим на постоянный двор — длинная изба под тёмной дранкой, коновязь, колодец с журавлём, тёплые окошки. Тоже на перекрёстке — как стояла наша кузня. Я отгоняю эту мысль, не додумав.

Внутри низкие балки, с которых свисают пучки сухих трав и связки лука; в устье печи гудит огонь, на лежанке дремлет кот. Пахнет хлебом и мокрой шерстью — жильём пахнет, и я не знал до сих пор, что по такому запаху можно стосковаться. С хозяином сговариваемся быстро: ему нужно сварить треснувшую ось да наладить засов на амбаре, а вечером, как соберутся люди, — рассказ. Он оглядывает Майрин лук, мои ладони и кивает: такие постояльцы ему, видно, не впервой. С осью и засовом я управляюсь до сумерек: у хозяина за амбаром свой горн — кривой, но живой.

К ночи в избе не протолкнуться: обозные, проезжие торговые люди, мужики с ближних дворов. Разговоры за столами дорожные, и мы пьём их, как воду после долгой жажды. В городе, толкуют, большая осенняя ярмарка, и дворы берут втридорога; мост на въезде чинят, обозы стоят по полдня; а дальше, в степи, беспокойно и купцы без охраны туда не суются. Полгода мы шли глухими местами, а тут мир будто разом придвинулся.

Хозяйский внук — мальчишка лет двенадцати, конопатый и лопухий — приносит нам ужин и всё не уходит: топчется рядом, поправляет что-то на столе, косится на Майрин лук. Майра ненадолго задерживает на нём взгляд, потом молча отодвигается, освобождая край скамьи, и мальчишка садится, не веря своему счастью.

Рассказ у меня на такие вечера один, он кормит вернее прочих. Начинаю его всегда одинаково.

— Тому уже лет пятнадцать, — говорю я. — Стоит наша деревня на самом краю света: дальше только горы, и за них никто не ходит. Я в ту пору был при кузнице подмастерьем, и не

сравнялось мне ещё двадцати. И вот раз, летним вечером, глядим — идёт по дороге человек. С той стороны идёт, откуда к нам никто и не ходит. Высокий, весёлый. Поклажи при нём никакой: ни котомки, ни палки. Сапоги чистые, будто не полями шёл, а по воздуху. Собаки — и те на него не брехали, хвостами виляли, как своему. Подходит ближе, здоровается — и называет меня по имени. А я его вижу в первый раз.

За столами перестают жевать.

Я выжидаю, сколько положено, и веду дальше: как пустил его к огню, как поил чаем и как он за этот чай рассказывал про весь белый свет. Про город, где людей — что колосьев в поле, и сосед соседа не знает. Про степь без конца и края. Про народ, что весь век живёт на воде и по земле не ходит вовсе. И про море. «Вода во весь свет, — сказал он. — Встанешь на берегу, а другого берега нет. И не оттого, что далеко. Просто нет». Кто-то присвистывает; хозяйка застывает с кувшином. А я веду дальше — про то, что и пересказывать боязно: про зиму длиною в целую жизнь, про пески, что звенят сами собой, про ночи в зелёном огне, про города, вырезанные в скале от подножия до вершины. Я бы и сам не поверил. Да вот беда: всё, что можно было проверить, у него сходило. И про наши дела он сказал такое, чего чужому знать неоткуда.

— А после он поглядел в окно, на небо, — говорю я, — и сказал: скоро, мол, звёзды посыплются. Сотнями, во всю ширь. Я ему: не бывает такого. А он: не бывало, так будет. Через семнадцать дней.

Тут я замолкаю. Это место я никогда не комкаю.

— Как он уходил — не помню, ровно сон сморил меня на полуслове. Очнулся — светает, кружки на столе, его нет. И о звёздах тех я, по совести, скоро думать забыл: лето, работы много. А на семнадцатую ночь выхожу из кузни — а небо падает. Посыпалось! Сотнями, как он и обещал, — что зерно из прорванного мешка. Полнеба исчертило, и всё без единого звука. Деревня высыпала во дворы и до рассвета простояла, задрав головы. Старики — и те такого не помнили.

— А ведь было! — не выдерживает кто-то из угла. — Было, люди добрые! Годов пятнадцать тому, к осени ближе. Я той ночью при обозе стоял — кони с привязи рвались!

И вот изба разом оживает. Было, было: всякий помнит, где застала его та ночь. Кто жал допоздна и увидел с поля, кто с крыши глядел, а кого мать за шиворот выволокла во двор — гляди, такое раз на веку. Чужие друг другу люди перебивают, спорят, делят ту ночь на всех — а я жду. Эту волну я знаю и не мешаю ей: кто выговорился, тот потом слушает, не дыша.

— Вот, — говорю я, когда стихает. — Небо-то одно. Что у нас сыпалось, то и у вас. Только вы его не ждали. А нам его пообещали — день в день.

Делается тихо. Мальчишка на краю скамьи глядит во все глаза и спрашивает шёпотом:

— А кто ж он был... дяденька?

— Не знаю, — говорю я. И это чистая правда.

— Складно, — щурится один из обозных. — Звёзды — что ж, звёзды все видали. А человек твой... Человека к звёздам приплести недолго.

— Недолго, — соглашаюсь я. — Затем и хожу с этой былью по дворам от самого дома: вдруг где вспомнят не звёзды, а его самого.

А хозяин всё это время молчал. Стоит за стойкой, трёт полотенцем одну и ту же кружку и смотрит на меня поверх голов. Потом отставляет кружку.

— Проходил такой и у нас.

За столами стихает так, что слышно, как оседают угли в печи.

— Я мальцом был. Вот как он. — Хозяин кивает на внука; тот замирает с открытым ртом. — Отец пустил его переночевать. Денег у того не было, а за ночлег он заплатил рассказом — про воду, которой края нет. Полвека прожил, а помню слово в слово. И вот ещё что. — Он медлит. — Уходил он затемно, до петухов. Отец ему с крыльца: куда ж в темень, хоть огня

возьми. А тот обернулся с дороги и говорит: «Мне звёзды светят не хуже огня». И пошёл. И собаки — хоть бы одна тявкнула.

Я чувствую, как рядом каменеет Майра.

— Куда он пошёл? — спрашивает она. Впервые за вечер она подаёт голос; голос ровный, а костяшки пальцев белые.

— Туда. — Хозяин указывает бородой на закат. — К городу. А от города, известно, к морю: куда ж ещё идти тому, кто про такую воду рассказывает.

Полвека прошло, а след его здесь — будто вчерашний. Посчитать может каждый: хозяину за шестьдесят, а человек, что встретился нам обоим, за эти годы не постарел ни на день. Бабы у печи жмутся ближе друг к другу. Кто-то вполголоса заводит про нечистую силу — на него шикают, и разговор торопливо сворачивают на ярмарку, на цены, на осенние дороги.

Расходятся поздно. Один из обозных, прощаясь, кивает на мои руки: тебе бы, кузнец, не подковы ковать, а клинки — по нынешним дорогам они нужнее. Я отшучиваюсь: мечей я и не держал никогда. Это правда. А про себя вспоминаю нож на дне моего мешка.

Спать нас пускают на сеновал. Сквозь щели в кровле сочится луна, сено пахнет летом. Майра не ложится: сидит в полосе света, положив лук на колени, и легонько трогает тетиву.

— Слыхал? — говорит она наконец. — Хозяин мальцом был. А он — такой же, каким ты его помнишь. Люди старятся, Тавен. А он нет. И ходит везде, рассказывает.

— Ходит, — говорю.

— Стало быть, и сейчас где-то идёт. — Тетива под её пальцем отзывается коротко и зло. — К морю шёл — значит, и нам к морю. Хоть год, хоть десять. У меня к нему разговор.

Говорит она это так, что я не спрашиваю — какой.

Я гляжу на неё и знаю, чего она хочет: чтобы кто-то ответил. Ей нужен виноватый — живой, с лицом и именем, — иначе с тем, что у нас позади, не выжить. И я хочу того же: спросить, отчего он смолчал. Он ведь всё знал — и что было, и что будет: помнил наш мост, которого не видел, назвал звездопад за семнадцать дней. Знал, стало быть, и про нас. Знал — и не сказал ни слова. Одно только меня останавливает: сдаётся мне, спрашивать это надо не с него одного.

Память тут же подсовывает своё, непрошеное. Я запираю её, как запирают дом, в котором больше не живут. О том, что подняло нас с места, мы с Майрой не говорим — ни разу, с самого первого дня. Есть раны, которых словами не трогают. Мы их обходим молча, как обходят трясину, и идём дальше.

Майра ложится спиной ко мне, как всегда, и долго не затихает. А я лежу, гляжу, как ползёт по сему пятно лунного света, и засыпаю только под утро.

Выходим до света, не дожидаясь хозяйского завтрака. У ворот нас нагоняет вчерашний мальчишка: суёт мне краюху в тряпице и, осмелев, спрашивает — а как догоните его, вернётесь досказать?

— Назад пойдём — доскажу, — обещаю я.

Майра кладёт ладонь ему на макушку — коротко, почти сердито — и выходит со двора не оглядываясь.

Туман лежит по низинам, лес редет с каждым часом, а к полудню расступается вовсе, и подъём выводит нас на гребень.

Внизу, до самого края, — равнина в лоскутах полей, вся в нитках дорог, и все они стекаются к одному месту. Там, у самого окоёма, темнеет что-то огромное и бесформенное — не разобрать за далью. Над ним неподвижно висит бурая пелена: дым бессчётных труб. Ветер доносит низкий слитный гул — дальний голос жизни, которая не знает тишины.

— Город, — говорит Майра.

Слово как слово, а меня будто окликают по имени: он ведь так и говорил — за лесами город. Всё сбывается, шаг за шагом, слово за словом, точно мы идём не по земле, а по его рассказу. Он не ошибся ещё ни разу.

— Выходит, и вода его — правда, — говорит Майра, будто подслушала мои мысли. Поправляет лук на плече и первой начинает спуск.

Я иду следом.

Глава 6. Первая кровь



Чем ниже мы спускаемся, тем гуще на дороге народ.

Ещё поутру мы шли почти одни, а к полудню оказались в толчее. Вozy, пешие, конные, гурты скота — всё течёт в одну сторону, к городу, и обратно навстречу тоже кто-то пробивается, толкается, бранится, и на дороге делается тесно и бестолково. Пыль стоит столбом, оседает на зубах. Я и вообразить не мог столько народу разом.

Река перед городом широкая и мутная, через неё — мост. Тот самый, про который толковали на постоялом дворе: его чинят. Половину настила разобрали, пускают по одной стороне, и перед мостом сбилась пробка — возы в три ряда, ржанье, ругань, где-то плачет ребёнок. Мы пробираемся стороной, пешими, и всё равно теряем на переправе полдня.

За мостом — стена и ворота. В воротах стража, и тут же мытарь: за въезд плати. С воза столько-то, с коня столько-то, с пешего — медяк.

Медяка у нас нет.

— За вход плати, — говорит мытарь, не глядя, привычной скороговоркой. Обрюзгший, мрачный. Для него за день таких, как мы, без счёта. — По медяку с души. Нет — ступай назад, не держи очередь.

— Я кузнец, — говорю. — Отработаю. Или рассказом — хочешь, расскажу такое, чего ты отродясь...

Мытарь поднимает на меня глаза и смотрит, как на убогого.

— На что мне твой рассказ? — говорит. — Тут за воротами кузнецов что собак нерезанных. А рассказчиков — полный рынок, и все горазды. Медяк давай или проваливай.

За спиной напирают, кто-то пихает меня в лопатку: не стой, не один тут. Я оборачиваюсь — и меня будто окатывает. Люди, люди, люди, и ни одного знакомого, и никто не глядит на тебя, ты всем пустое место. У нас в деревне всякого встречного знали в лицо и по имени. А здесь иди хоть нагишом — не заметят. Мы с Майрой стоим у чужих ворот, как два камня в реке, и река эта течёт мимо нас.

— Что, с деньгой туго? — раздаётся рядом весёлый голос.

Возле нас стоит малый — молодой, вертлявый, в добротном кафтане не по росту, глаза быстрые и смешливые. Улыбается так, будто мы с ним сто лет знакомы.

— Первый раз в городе. Оно и видать: стоите, как телята перед новыми воротами. — Смеётся. — Давай подсоблю. Мне не в тягость, а вам сгодится.

Он бросает мытарю две монетки — тот ловит не глядя, машет: проходи. И вот мы уже за воротами, а малый идёт рядом, будто так и надо.

— С тебя причитается, кузнец, — говорит весело. — Да ты не пугайся, я не лихой человек. Отработаешь как-нибудь. Меня тут всякая собака знает.

Что-то в нём меня настораживает, а что — не пойму. На большой дороге я уже выучился чутя худо загодя: тех троих конных, что оглядели нас, как скотину, я почуял издали, спиной. А тут — улыбка, весёлое слово, помощь, — и чутьё моё подводит. Не на то оно заточено.

Майра идёт молча, лук на плече, и спутника нашего мерит одним долгим взглядом. Он нас провёл — стало быть, покуда терпим.

Город за воротами оглушает. Улица сразу распахивается — широкая, мощёная. И на ней такое, чего я и во сне не видывал: лавка на лавке, ряды без конца, крик зазывал, стук, звон, конское ржанье, где-то бьют в бубен, где-то торгуются взахлёб. Пахнет всем сразу — жареным, кожей, навозом. Идёт осенняя ярмарка, о какой толковали в дороге. Народ съехался отовсюду. Мы с Майрой держимся ближе друг к другу, чтобы не растащило.

И тут я вспоминаю, зачем мы пришли. У постоянных дворов, в харчевнях, у лавок спрашиваю одно и то же: не проходил ли человек — высокий, налегке, годами не старится, за ночь лег платит рассказом, про всё ведает.

— Не проходил такой? — спрашиваю в третьей уже харчевне.

Хозяин, не отрываясь от кружек, даже не глядит на меня:

— Милок, тут за день сотня таких проходит. Всех, что ли, упомянуть?

В дороге стоило спросить — и всякий раз кто-нибудь да вспоминал: как же, был, ночевал, сказывал. А тут — пожимают плечами, глядят мимо, отмахиваются. Через этот город за день проходит больше народу, чем через нашу деревню за сто лет. И город их не помнит. Он их глотает и забывает.

И я вижу, как это бьёт по Майре. Нить, что вела нас от двора к двору так верно, здесь оборвалась. А для неё эта нить — единственное, за что она держится.

В толчее у хлебных рядов вдруг вскрикивает ребёнок. Где-то за спинами, тонко, испуганно, — потерялся, зовёт: «Ма-а!» — и захлёбывается плачем. Дело обычное на таком многолюдье: сейчас найдётся, вынырнет мать, подхватит.

Майра останавливается как вкопанная. Стоит посреди толчеи, а её толкают, обходят, бранятся, — она не слышит. Лицо белое. Я беру её за локоть. Она не оборачивается. Так мы и стоим в самой гуще, пока детский плач не тонет в общем гуле — видно, и вправду нашлась мать. Тогда Майра трогается с места, будто ничего и не было.

А со мной в этом городе творится другое, и об этом я Майре пока не говорю. Холодок мой под сердцем тут молчит — я за дорогу к этому привык. Но взамен пришло новое, и оно куда хуже.

Идём мы, положим, улицей — тесной, кривой, я в ней отроду не был. И вдруг я знаю: сейчас будет поворот направо, а за ним — маленькая площадь с колодцем и корытом. Знаю наперёд, ясно, как своё имя. Заворачиваем — и вот они, площадь, колодец, корыто, всё как я

видел за миг до того. Или гляжу на вывеску над чужими воротами — прочесть-то я её не могу, грамоте не обучен, — а сам уже знаю, что там написано, и что за воротами двор, а во дворе бочки и рыжая собака на цепи. И всё сходится.

Откуда? Я в этом городе первый день. Я нигде этого не видел и видеть не мог. А оно во мне — будто я тут вырос и хожу этими улицами полсотни лет. И так мне делается жутко, что я сбиваюсь с шагу.

Малый всё это время вьётся рядом — то отстанет, то нагонит, и не отделаться от него. Слышит, про кого я расспрашиваю, и вдруг делается серьёзным.

— Погоди-ка, — говорит. — Человек, что не старится? Про большую воду сказывает? — Щурится. — А ведь я про такого слыхал. Сам не видал, врать не стану, — а слыхал. Есть тут один... он всякого приبلудного помнит, память у него как невод. Хочешь — сведу. Тут недалеко.

Майра — впервые за весь город — оживает. Глаза загораются.

— Веди, — говорит.

И вот мы уже идём прочь от торгового двора, в улицы поуже да потемнее. Народу тут всё меньше, а после и вовсе никого. Меж глухих стен, под верёвками с чужим бельём, мимо сваленного хлама. Он всё говорит, говорит без умолку — про город, про то да сё, — и от весёлого его голоса вроде и не страшно. А ноги мои идут медленнее.

— Далеко ещё? — спрашиваю.

— Да вот, за угол, — бросает он через плечо, не оборачиваясь. — Двор тут у него.

И ныряет в подворотню.

Двор глухой, тесный, со всех сторон стены без окон, и один выход — тот, которым мы вошли. А во дворе у стены стоят двое. Ждут. И по тому, как они стоят, я разом понимаю всё то, чего чутьё моё не учуяло с самого начала.

Малый оборачивается. И улыбка на лице у него та же — весёлая, добрая, — только теперь я вижу её насквозь.

— Ну вот и пришли, — говорит он ласково. — Ты, кузнец, не дури. Нож твой я приметил, хорош. Отдай нож, отдай кошель, и лук пусть баба кладёт — и разойдёмся по-доброму. Целее будете.

Один из тех двоих, у стены, лениво отлепляется от камня. Постарше, лицо битое, и глядит на нас не зло, а буднично — как глядят на работу, которую делали уже не раз.

— Гляди-ка, Хорёк не соврал, — роняет он напарнику, кивнув на малого. — Кузнец. И баба при нём. — И к нам, всё так же ровно: — Клади бы вы, что велено, да поживее. Возни не любим.

— По-хорошему же просят, — поддакивает малый, и улыбка не сходит. — Отдадите — разойдёмся.

— Разойдёмся, — соглашается битый. И усмехается — впервые, нехорошо, одними губами. — Только вот что тебе, кузнец, скажу. — Делает шаг. — Ты ступай подобру, а баба твоя пусть пока тут с нами побудет. Недолго.

Решать поздно — за меня решает Майра.

Я даже не заметил, когда она наложила стрелу. Договорить битому она не даёт: тетива уже у щёки.

В тесном дворе, с трёх шагов, промахнуться нельзя. Стрела бьёт его в горло. Он не вскрикивает — только хрип, короткий, булькающий, — хватается за шею обеими руками, и меж пальцев у него толчками идёт кровь. Валится боком на стену, сползает по ней. И всё. Так быстро, что я не успеваю понять.

А второй уже возле меня, и что-то тускло блестит внизу. И тут руки мои — те самые, что сковали этот нож, — делают всё сами. Я не думаю. Ухожу вбок и бью — снизу, коротко,

под рёбра. Живая плоть подаётся под сталью мягко и тяжело. Человек виснет на мне, дышит в лицо горячо и часто, и я держу его на ноже, пока он не оседает к моим ногам.

Малый — тот, весёлый, — в драку не полез. Он для драки других держит. Метнулся было к выходу — а там уже Майра, и новая стрела на тетиве, и смотрит она так, что он встаёт как вкопанный и медленно тянет вверх пустые руки.

Делается тихо. Только один из тех двоих ещё еле слышно сипит у стены.

Меня начинает колотить. Нож и рука мокрые, и я не сразу понимаю, что это кровь. Я ковал железо, чтобы резать траву да править косы, а вон, выходит, на что ещё даны мне эти руки. И они всё сделали сами, ловко, без запинки, будто только того и ждали. И от этого мне страшнее, чем от мёртвых у стены.

Майра подходит к малому. Медленно. Стрела смотрит ему в глаз.

— Человек, что не старится, — говорит она. Голос ровный, и оттого страшный. — Ты сказал — слышал про такого. Не ври мне теперь. Соврёшь — ляжешь рядом с ним. — Кивает на мёртвого. — Проходил он тут?

Малый глотает, косится на острие.

— П-проходил, — выдавливают. — Давно. Сам не видал, врать не буду. Но про него тут помнят, кому надо. — Сглатывает. — Он ведь через город шёл и деньжата при нём были. Ну, наши и позарились: чужой, налегке, кошель большой — лёгкая, думали, пожива. Ватага была, четверо. Свели его вот эдак же... в тихий двор.

Он замолкает. Видно, и говорить-то про это ему боязно.

— Ну? — роняет Майра.

— Не вышло у них ничего, — говорит малый совсем тихо. — Он и пальцем не двинул. Только глянул. Сказывают, глаза у него сделались... — Мотает головой, будто отгоняя. — Не знаю. Врать не стану. Только из тех четверых двое сразу драпанули, один наутро поседел весь, а другой... — Сглатывает. — Другой с той ночи стал заговариваться. Всё бормотал про чужие небеса. Пальцем у виска на него крутили. Так и помер, полоумный. А человек тот ушёл себе. К реке подался, к пристаням. С той поры его тут помнят и не трогают.

Майра стоит над малым, и я не знаю, что она сделает. Только что она убила человека — легко, будто всю жизнь этим жила. И этот, что скулит, вжавшись в стену, завёл нас сюда на смерть, и рука у неё не дрогнет, я вижу.

Да и он это тоже видит. И плачет — беззвучно, одни губы трясутся.

Проходит долгая минута.

Майра опускает лук.

— Пошёл вон, — говорит она. И столько в этом слове усталости, что мне делается не по себе. Не пожалела она его, а просто не захотела убивать.

Малый не заставляет просить дважды: юркнул в подворотню — и сгинул.

Из города мы уходим той же ночью, ночевать не остаёмся. Дорогу к воротам я не спрашиваю ни у кого — сам знаю, где выход, и уже не дивлюсь тому, что знаю.

За воротами — темень, поля, дорога. Река уходит вправо, к пристаням, и туда же, вдоль воды, лежит наш путь. К морю. Всё сходится, как сходилось всегда: он и тут прошёл прежде нас, и след его повёл нас дальше. Только теперь этот след добыт не у тёплого огня, за кружкой, а вот так. Кровью.

Майра идёт впереди. За весь вечер она не сказала мне ни слова про то, что сделала. И не скажет. Только шаг у неё теперь другой — тяжелее и увереннее. Что-то в ней нынче встало на место.

А я иду и гляжу на свои руки. Отмыл их в первой же луже, а они будто всё равно в крови. И думаю: что ещё они умеют помимо меня? И знать этого не хочу.

Тот, кого мы ищем, идёт где-то впереди — к воде, которой нет края. А мы идём за ним. И назад теперь дороги нет — ни ей, ни мне.

Глава 7. Караван



Мы идём берегом всю ночь. Город остаётся позади, его мутное зарево понемногу гаснет, и вскоре с нами остаётся только река. Её не видно в темноте, но она плещет справа, у самой тропы. К рассвету впереди показываются пристани.

Их тут без числа. Чёрные от воды мостки уходят в реку, и у каждого покачиваются лодки — от лёгких плоскодонок под одно весло до пузатых посудин с убраным парусом. В воздухе висит запах тины, рыбы, мокрого дерева и смолы. Работа кипит ещё затемно: перекликаются люди, скрипят под ногами грузчиков сходни, где-то глухо стучит топор. Народ здесь не тот, что на ярмарке, — жилистый, обветренный; по походке сразу видно, что вся жизнь у них прошла на воде.

Я высматриваю, к кому подойти, и выбираю немолодого кряжистого мужика, что в одиночку катит бочки на широкую лодку.

— Хозяин. Вниз по реке идёшь? К морю?

Он разгибается, вытирает лоб.

— К устью. Дней через пять буду. А тебе зачем?

— Возьми нас двоих. До устья. Я не даром прошу: на вёслах отработаю.

Он усмехается.

— Гребцы мне не нужны. До устья хочешь — плати.

— Платить нечем, — говорю.

— Тогда и говорить не о чем. — Он берётся за новую бочку и разом обо мне забывает.

Второй даже не дослушивает: скользит взглядом по Майриному луку, качает головой и отворачивается к сетям. Третий, помоложе, оказывается словоохотливее. Он связывает разлохмаченный конец каната.

— Задаром никто не повезёт, и не проси. Тут тебе не большая дорога. Там ты за ночлег байку расскажешь или ось поправишь. А на воде кому нужна твоя байка? Мне нужен только

ветер, и не тот, что у тебя в карманах. Были бы деньги — домчал бы с песней. Нет денег — сиди на берегу.

На большой дороге нас кормило наше умение. Здесь оно не стоит ничего. Вода для нас закрыта: был бы грош — пустила бы, а без гроша стой и смотри, как лодки одна за другой уходят вниз.

Солнце уже встало, пристань шумит всюю, и лодки отчаливают одна за другой — кто на вёслах, кто поймав парусом слабый утренний ветер. Уходят к устью. Без нас.

— Пойдём пешком, — говорит Майра.

Другого пути и нет. Только пеший через степь. Я перебрал в уме всё, что слышал о степи на постоялом дворе и в дороге. Она тянется много дней, и нет там ни деревни, ни леса — одна трава да ветер. И что разбойников там столько, что купцы в одиночку туда не суются: сбиваются в караван и берут охрану.

Одним нам в этой пустоши и дня не протянуть. Не разбойники, так голод.

Значит, с караваном.

Караваны собираются за городом, на широком дворе, откуда уходит в степь наезженная дорога. К полудню мы находим один такой — уходит он наутро. Вozов десятка полтора, гружёных и укрытых холстом. Между ними бродят распряжённые кони, дымят костерки, ходят возчики. Несколько купцов свезли товар вместе, в один обоз: видно, так и водится, когда впереди дурная дорога. При обозе и охрана — с десятков крепких мужиков, при ножах, у иных луки да рогатины. Держатся они особняком, у своего костра, и на них поглядывают с уважением и опаской.

Я спрашиваю, кто в караване старший, и мне показывают на сухого желчного купца с жидкой бородкой — он бранится с возчиком из-за плохо увязанного тюка. Дождавшись, пока он отведёт душу, я подхожу.

— Хочу к вам проситься. Нас двое, идём в ту же сторону, к морю. Я кузнец, а она бьёт из лука без промаха.

Купец оглядывает меня без охоты, как лишнюю поклажу, которую некуда деть.

— Кузнец у меня свой. И охрана нанята. Лишние рты ни к чему — караван не богадельня.

— Мы не нахлебники, — говорю. — А лишние руки в степи не помеха. Тем более руки при оружии.

— Оружие. — Он мельком ведёт взглядом по Майриному луку. — У меня полдвора при оружии. А с бабой так вообще одна морока.

Майра, всё это время молчавшая, снимает с плеча лук.

— Вон. — Она кивает подбородком, не повышая голоса. — Видишь сук на воротах амбара? Верхний.

Амбар стоит на дальнем краю двора, и сук на воротах — чёрная точка, не сразу и разглядишь. Купец не успевает ни ответить, ни удивиться. Майра накладывает стрелу и тянет тетиву — легко, коротко, будто и не целясь, — и спускает. Стрела уходит через весь двор и с треском вонзается в ворота, ровно в сук. Кто-то из возчиков присвистывает.

Двор затихает. От сторожевого костра кто-то встаёт, чтобы разглядеть.

Купец смотрит на дальние ворота, потом на Майру, и лицо у него меняется.

От костра неторопливо подходит немолодой мужик — крепкий, седоватый, с лицом, будто вырубленным топором. Руки заложены за пояс. Он смотрит на Майру, на дальние ворота, снова на Майру.

— С такой дали, да навскидку, — говорит он купцу, кивнув на Майру. — Бери обоих, дорога сам знаешь какая.

Купец жуёт губами, прикидывает. И так ясно: на охране он поскупился, а степь пугает, и лишний стрелок ему теперь очень кстати.

— Ладно, — говорит он наконец. — Хлеб общий, место у заднего воза. Дойдём — там и разойдёмся. Только чтоб был от вас толк.

— Будет толк, — отвечает Майра. И вешает лук на плечо.

Караван трогается, едва солнце поднимается над степью. Вozы скрипят, кони налегают, длинная вереница вытягивается по дороге и ползёт на восход. Мы с Майрой пристраиваемся в хвосте, у заднего воза, как нам и велели.

Поля кончаются быстро. Дальше идёт ровная земля без края, вся в сухой траве по колено, и трава ходит под ветром, как вода. Ни деревца, ни двора, ни дымка — один простор до самого края земли. Днём печёт солнце, к ночи всё разом стынет, и ветер не смолкает ни на час.

Дорога тут одна, накатанная до твёрдости камня, и сойти с неё некуда. Теперь я понимаю, почему в степь не ходят в одиночку. Спрятаться негде, а видно тебя издалека всякому. За место у общего котла мы отвечаем тем, что идём при оружии.

Старшего над охраной зовут Даран. Ему за пятьдесят, он сед и грузен, лицо и руки в старых рубцах, а двигается всё равно легче иного молодого, и когда говорит — прочие умолкают. Всю жизнь он при обозах: возил соль, зерно, солёную рыбу, ходил и на север, и к южным пескам. Про свои шрамы рассказывает нехотя и с усмешкой: этот, мол, по молодости да по глупости, а вот этот — от бабы, не поверишь. Ни семьи у него, ни дома.

— А к чему? — говорит он, когда я спрашиваю. — Дом — это где тебя ждут. А меня давно никто не ждёт: кого я знал, те либо в земле, либо забыли. Оно и легче.

Он один с первого дня разглядел в Майре не бабу при муже, а стрелка: говорит с ней ровно, без сальностей, расспрашивает про лук и кивает, когда она отвечает коротко и по делу.

— Знал я одну такую, — говорит он ей как-то. — Тоже с луком при обозе ходила, на севере. Стреляла — заглядишься. — Умолкает, глядя в огонь. — Нет её давно. И никого из тех нет.

К молодым он строг, но приглядывает за ними, будто отец. Больше всех перепадает Орьену. Орьен — совсем ещё мальчишка, лет семнадцати, тощий, с торчащими ушами. Дальше соседнего села он из дому не выбирался, и тут ему всё в новинку и всё в радость. Держится он бывалым бойцом — сплёвывает сквозь зубы, носит нож напоказ, — но заведи речь о море или о дальних краях, и вся напускная бывалость слетает, остаётся восторженный юнец.

— А правда, что за морем города прямо в скале рубят? — пристаёт он ко мне. — А правда, что платят там серебром? Вот скоплю долю, куплю коня, настоящего, верхового, и наймусь в большой караван, где своя охрана. Я к делу способный, ты не смотри, что я такой.

Он повторяет это каждый вечер, слово в слово, будто заклинание. И я не смеюсь. Я и сам был когда-то такой — верил, что впереди целая жизнь и в ней уместится всё, чего ни пожелаешь.

Даран, слушая эти мечты, только качает головой.

— В драку не рвись, парень, — говорит он ему. — Кто в драку рвётся, тот первым и ложится. Молись, чтоб дошли тихо, никого не встретив. Вот и всё геройство.

Орьен кивает, а сам не верит: молодому охота подраться, себя показать.

Как-то вечером, когда Даран уходит смотреть коней, Орьен подсаживается ко мне и долго молчит — на него это не похоже.

— Слышь, кузнец, — начинает он вполголоса. — А ты человека... ну... когда-нибудь?..

Он не договаривает. Я смотрю в огонь и вижу тёмный двор, который до сих пор приходит ко мне по ночам.

— Зачем тебе?

— Да думаю всё. Даран говорит — не рвись. А если само выйдет? Я же охранник. Вдруг я не смогу? Стыдно ведь.

— Хуже, если сможешь, — говорю я.

Он хмурится и ждёт, что я объясню. Я не объясняю. Пусть лучше никогда не поймёт, о чём я.

А ближе всех мне Веслан. Обычный мужик с руками, привыкшими к земле, которого нужда сорвала с места. Дома у него, далеко на западе, жена и трое детишек, и тоскует он по ним так, что видно за версту. Пошёл он в поход от бедности: год выдался голодный, а кормить семью нечем. Отслужит охранником, принесёт домой денег — и до весны, говорит, с печи не слезу, — и улыбается.

Каждый вечер он достаёт из-за пазухи деревянную лошадку и, пока другие болтают, тихонько строгаёт её у огня. Это гостинец младшему.

— Он у меня коней любит без памяти, — говорит Веслан и поворачивает лошадку к свету, чтоб я разглядел. — Полгода уже не видел его. Он меня теперь, наверное, и не признает.

Дни до дома он отмечает зарубками на палочке. Их уже не счесть, а конца пути всё не видать.

— А у вас как — детишки есть? — спрашивает он однажды, поворачивая лошадку в руках.

Майра поднимается и уходит от костра в темноту — молча, будто за водой. Веслан растерянно смотрит ей вслед.

— Я что-то не то спросил?

— Устала она, — говорю я. — День длинный.

Даран смотрит на меня поверх огня, долго, потом заводит разговор про завтрашний переход.

А в другой вечер заходит разговор о море.

— Оно какое? — спрашивает Орьен. — Ты же видел.

Даран отвечает не сразу.

— Большое, — говорит он наконец, и у костра смеются. — Смейтесь. Я его один раз в жизни видел. Молодой был, вроде тебя. Довели обоз до берега, все пошли по кабакам, а я стоял на песке и смотрел, пока не стемнело. Оно живое. Дышит: накатит — отойдёт, накатит — отойдёт, и так хоть тысячу лет. Постоишь перед ним — и все твои дороги как тропки во дворе.

— Так пойдём с нами! — Орьен даже подсказывает. — Нам с кузнецом как раз до моря!

— Дойдём до устья — поглядим, — усмехается Даран и подбрасывает в огонь сухих стеблей.

По усмешке видно, что никуда он не пойдёт. Но в тот вечер о море говорят все наперебой — кто что слышал, кто что выдумал, — и даже Веслан говорит, что глянул бы разок. По дороге домой.

И эти вечера у костра делаются мне почти домом. Даран роняет скупые байки из своих бесконечных дорог, Орьен слушает с открытым ртом, Веслан строгаёт лошадку, кто-то заводит тягучую песню, кто-то ворчит, чтоб замолчали. Майра сидит рядом, и я вижу, что и ей тут легче. Мы идём через мёртвую степь, где нас могут убить за один воз соли, — а у огня об этом не думается. Вокруг нас живые люди, и уже за одно это держишься.

На третий или четвёртый день со мной снова случается то, чего я боюсь и не понимаю. Мы бредём по дороге, и я вдруг знаю — ясно, наверняка, — что за ближним подъёмом пойдёт спуск, к сухому руслу, и там будет колодец, а рядом три старые ивы, кривые и полуголые, единственные деревья на всю степь. Я вижу их так, будто уже стоял под ними. И к вечеру всё сходится: подъём, спуск, сухое русло, колодец, три ивы. Возчики радуются воде, поят коней, наполняют бочки, — а я стою в стороне, и меня колотит. В этой степи я первый раз в жизни. Я не мог этого видеть — и всё-таки видел. Что-то во мне знает дорогу, по которой я не шёл, и с каждым днём знает всё больше.

Майра находит меня в стороне, встаёт рядом. Я молчу, и она не спрашивает. У нас с ней давно так повелось: есть вещи, которые каждый несёт молча.

Дни идут, а степь не меняется: трава, ветер, пустая даль. Разбойников нет, и охрана мало-помалу теряет бдительность, у костра смеются громче. Один Даран не расслабляется — всё оглядывает степь, всё пересчитывает возы, будто чувствует, чего не видно.

А на меня в последний вечер наваливается тяжесть, какой раньше не бывало. Не то знание дороги, что напугало меня у колодца, — другое. Глухая тревога, как перед грозой, когда воздух густеет и птицы разом смолкают. Только небо чистое, ни облачка, — а тяжесть всё равно густеет, где-то во мне самом. Я сижу у костра, смотрю на лица вокруг — и не могу отделаться от чувства, что гляжу на всё это откуда-то издалека, будто уже вспоминаю, а не вижу. Веслан ловит мой взгляд. «Ты чего приуныл, кузнец?» Я через силу улыбаюсь и отворачиваюсь. Мне хочется их предупредить. А о чём — я и сам не знаю.

Ложусь я в ту ночь с камнем на сердце. Майра ложится рядом. Первую половину ночи спать выпало мне — так у нас повелось ещё с большой дороги. Тревога долго не пускает в сон: я смотрю в чёрное небо, слушаю, как переступают и всхрапывают кони, как ветер шуршит в траве, — а потом всё-таки проваливаюсь, будто в тёмную воду.

И мне снится сон.

Снится, что я лежу у погасшего костра, а вокруг всё спит — возы, кони, люди. Ночь тихая, звёздная. И вдруг я вижу, как от края, из травы, из темноты, отделяются тени. Их много, и они не крадутся, а идут спокойно и неслышно, будто спешить некуда, и я понимаю, что шли они к нам давно, всю дорогу, и вот нагнали. Я хочу крикнуть, поднять людей, но крика нет, и тела нет — я только смотрю.

Тени входят в лагерь и расходятся между спящими. Они не борются и не бьются, а работают тихо и споро, как жнецы на поле. Одна склоняется над крайним возчиком, и он больше не дышит, за ним другой. Я вижу Дарана — он спит, положив руку на нож, и лицо у него во сне спокойное, помолодевшее; тень наклоняется к нему, и я знаю, что человека, который пережил столько дорог, стрел и ножей, сейчас убьют во сне, спящего, и он даже не проснётся. Я вижу Орьена — он свернулся, как щенок, и губы его чуть шевелятся, будто снится ему верховой конь и серебро за морем. И не будет уже ни коня, ни моря, ни драки, которой он так ждал. Я вижу Веслана — он лежит на боку, и в кулаке у него та деревянная лошадка; рука разжимается, лошадка выскальзывает в траву, и одна из теней, проходя, наступает на неё — не со зла, просто не глядя. И я знаю, что там, далеко на западе, трое детей будут ждать отца, который не вернётся, и никто им об этом не скажет.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.